

## I. КАГУЛЬСКАЯ ЦЫГАНКА

Весною 1770 года отряды русских войск после жарких победных схваток под начальством генерала фон Штофельна с передовыми турецкими отрядами в окрестностях Кагула и Галаца двигались по распоряжению главнокомандующего графа Румянцева-Задунайского вдоль правого берега Прута к Яссам.

Несмотря на то, что это было еще в начале мая, дни стояли знойные. От утра до ночи раскаленное солнце, утомительно медленно двигаясь по голубому, такому же, по-видимому, знойному небу, ни разу вот уже несколько дней не встречало на нем ни одного облачка, которое могло бы заслонить собою хоть на час это безжалостное, раскаленное Богом добела и брошенное над томящеюся от зноя землю неотразимое ядро. Степь — голая, серая, выжженная солнцем, словно проклятая Богом пустыня, не дает ни тени для освежения наболевшей от жару головы, ни влаги, чтобы промочить пересохшее, как и эта безжалостная степь, горло. Прут отошел далеко в сторону, словно бы и ему опостылела эта серая, мертвая пустыня, и не на чем отдохнуть утомленному однообразием глазу, не на чем остановиться притупленному вниманию. Медленно и нестройно, словно после поражения, плетутся отряды в этом пекле, в "вавилонской печи огненной", как обозвал с досады эту знойную степь отец Сила, полковой священник Азовского полка.

Отец-иерей лежит в фургоне, вместе с обозом, следующим за отрядами, и от времени до времени высовывает из своего колесного шалаша всклокоченную бороду и заспанные глаза, чтобы в сотый раз удостовериться, что нет впереди ни воды, ни лесу.

— И впрямь пустыня Аравийская, — ворчит он, пряча голову под навес кибитки.

Солдаты, большею частью босиком, с казенными башмаками и ранцами за спиной, медленно идут там кучками, словно овцы, там врассыпную, как дудаки в степи, и редко-редко перекидываются то остротами, то крепким словом, то руганью на жарынь и другими замечаниями критического свойства. Обозные лошади немилосердно фыркают, отбиваясь от мух, слепней и оводов. Едва влекомые усталыми артиллерийскими конями медные пушки до того накалены, что к ним боятся дотрагиваться утомленные солдатики. И пехота и конница, животные и люди, даже полковая косматая собачка Малашка, — все это чувствует на себе тягость знойного перехода.

— Что, "хохли — все подохли", тепло? — спрашивает загорелый, веснушчатый, с красными бровями и рыжими ресницами юркий солдатик своего мешковатого товарища с черным как голенище лицом.

— Э! До чертова батька тепло.

— А пить небось хочешь?

— Ще б не хотить! Аж шкура болит.

— Квасу бы, поди? А?

Товарищ молчит, насупился, сопит и шагает.

— С ледком бы кваску? А, хохли, ладно бы чу?

Молчит "хохли" на такую неуместную шутку. Напоминать о квасе со льдом в этом пекле, да это нож острый!

— А ты язык высунь, полегшает.

— Да замовчи ты, собачий сын! — сердится хохол.

— Я толком тебе говорю, высунь... Вон видишь, Малашка поумней тебя, высунула небось.

Собака, услышав свое имя, подбежала к солдатам, махнула хвостом в знак внимания.

— Видишь, — продолжал рыжий, указывая на собаку, — она высунет язык, слюни у нее текут... Ну, ей и квасу

не надо...

Мешковатый хохол хотел сплюнуть с досады, но во рту не оказалось даже слюны.

— Тьфу ты, черт! От бисова турчина!

— А ты пулю в рот положи, это помогает.

— Яку пулю?

— Да вот яку.

И рыжий, вынув изо рта пулю, показал ее хохлу. Собака тоже любопытствовала узнать, что там такое, не съедобное ли...

— Что, Маланья, и тебе пулю дать? — продолжал рыжий. — Да ты, сучья дочь, проглотишь ее, а пуля-то казенная. А ты вот что, хохли, слушай меня: положи пулю в рот, она сок даст.

— Что ты брешешь?

— Пес брешет, а не я... Эдак старые солдаты завсегда делают: коли пересохло во рту, бери пулю... В ей, братец ты мой, вода есть; вот она штука-то какая...

Где-то позади, в обозе, поет чья-то протяжная песня:

Вылетала голубица на долину,  
Выроняла сизы перья на травину...

В это время в передних отрядах слышались радостные возгласы. Они переходили от группы к группе.

— Что там? Уж не турки ли?

— Вода! Вода-матушка, братцы!

— Видро выпью, — сурово пробормотал оживившийся хохол.

Маланья, видя общую радость, визжала от счастья, перебегая от одного солдата к другому. Лошади ржали. Отец Сила торопливо рылся в фургоне, ища дорожный баклажек.

— Яко слепь на источники водные стремится, радуясь, — бормотал он.

Скоро сделали привал на берегу Прута. Везде стоял гул невообразимый. Солдаты и лошади торопились к воде, последние бились, рвались из упряжи. Маланья чуть ли не первую забралась в воду и, налакавшись всласть и выкупавшись, неистово лаяла, цепляясь за морду лошади, которая торопилась к воде. Походная жизнь научила умную собаку некоторым кавалерийским приемам: она знала, что солдаты не позволяют лошадям пить воду тотчас после похода, пока они не остыли, и продувная собачонка не пускала лошадь к воде...

— Держи ее, держи, Маланья! — подзадоривал рыжий, стоя на карачках и смачивая водой свою рудую голову.

Хохол, исполнив обещание, выпил чуть ли не целое ведро воды, и мыл свои усталые ноги. Другие солдаты купались. Отец Сила, стоя на берегу в одном подряснике, рассуждал сам с собой: — Се вода, что возбраняет мне купаться?

Место для привала было великолепное. Ровный, несколько обрывистый к реке берег Прута местами покрыт был прошлогодним пересохшим камышом, сквозь который проросли стебли нового, зеленого и заглушали эту отжившую старость. Кое-где торчали, словно горбатые и неуклюжие старухи, толстые, дуплястые стволы ивняка-тополя, с тонкими, словно не им принадлежащими и врозь раскинутыми ветвями, на которых уже висели солдатские ранцы, наскоро вымытые рубахи, плохо вымытые портянки и запыленные башмаки. Там-сям уже курился дымок, то солдаты развели огни, чтобы сварить себе каши, у кого была крупа, или смастерить сухарные щи с диким щавелем, росшим по берегу. По временам, в общем гуле голосов и лошадиного ржання слышался звонкий голос полковой Маланьи, которая гонялась уже в камышах за молодыми утиными выводками...

Полковому начальству успели разбить палатки, и там между офицерами шли оживленные толки о войне, об удачных поисках за турецкими отрядами. Упоминались имена Румянцева, Суворова, Орлова...

— Помогли бы нам черногорцы с той стороны да сербы, так мы бы и до Константинополя дошли, — говорил полковник фон Шталь, сухопарый немец с холодными глазами.

— Матушка-императрица писала графу: "Подожгла-де я турецкую империю с четырех концов"... Загорится ли только? — заметил генерал фон Штофельн.

— Как солома вспыхнет, ваше превосходительство, — бойко отвечал молодой белокурый офицер. — У нашей государыни рука легкая... Да и чума нам поможет...

— Так-то так, молодой человек, — задумчиво возразил фон Штофельн, только чума, государь мой, опасный союзник...

— К нам она не пристанет... Она больше любит азиатов...

— Дай-то Бог...

Недалеко от генеральской палатки, у самого берега реки, на небольшом коврике, разостланном под тенью старого тополя, сидели три молоденьких сержанта. Один из них, прислонившись спиной к стволу дерева и подперев голову руками, сидел молча, а двое других, покуривая трубки, изредка перекидывались замечаниями, видимо, наслаждаясь отдыхом.

— Да что ты, Саша, такой скучный? — спросил один из них, сильный брюнет с серыми глазами, обращаясь к тому, который молчал, склонив голову на руки. — Все об невесте тоскуешь?

— Не знаю, так, тоска какая-то, — отвечал тот, не поднимая своей белокурой курчавой головы.

— Ну, вот еще! Так напустил на себя...

— Нет, не напустил... А мне что-то страшно.

— Чего же страшно? Турок здесь нет, да ты и не из трусливого десятка.

— Я и сам не знаю. Но такая тоска, такая смертная тоска, что хоть утопиться, так впору...

А в обозе, позади артиллерии, опять поет заунывная, тоскливая песня:

Заной, заной, сердечушко — эх, ретивенькое!  
Кормил-поил красну девку — эх, и прочил за себя!  
Досталась моя любушка — эх, иному, не мне,  
Эх, что иному, не мне — лакею-свинье...

Молодые люди засмеялись. Не смеялся только тот, который говорил, что его сосет тоска.

— Еще бы! Кормил-поил, а она досталась свинье-холую, — заметил другой сержант с непомерно широкими плечами. — Ну, а твоя Лариса тебе и достанется... О чем же тосковать?

— Я сам не знаю, но это вот уж несколько дней... С той самой ночи, как мы языка добывали под Кагулом... У меня из ума нейдет старая цыганка...

— Какая цыганка?

Тот, к которому относился этот вопрос, сначала как бы что-то припоминал, безмолвно глядя в далекое пространство, открывающееся за Прутом, а потом, приложив ладони к вискам и крепко сжав голову, со вздохом заговорил: — Я уж думаю, что она испортила меня. Я вам не говорил об этом... А вот как было дело: казаки выследили цыгана, который ночью пробирался через нашу цепь, и донесли об этом полковнику. Полковник тотчас же послал меня с тремя казаками достать этого цыгана. Ночь была темная, зги не видать... Тихо кругом, так тихо, что слышно, как сердце у тебя стучит под кафтаном... Ползком мы пробрались к цыганскому табору — там все спали... Один шалаш стоял далеко на отшибе, у овражка, и там светился огонек... В овражке лежал наш сторожевой казак... Из овражка мы и подобралась к шалашу... Цыган только

что собирался уходить, должно быть, к туркам, к Кагулу, как мы повалили его, связали и заклепали ему рот... В этот момент из шалаша выползла цыганка, схватила было меня за руку, но я наставил ей кинжал в грудь... Я зажал ей рот и втолкнул в шалаш... Там и ее связали... А она, проклятая ведьма, припала к моей руке и ну целовать ее... Я отдернул руку. А она ощерила свой страшный беззубый рот и говорит: "Помни кагульскую цыганку Мариулу, помни... Я поцеловала твою руку... Помни поцелуй Мариулы, я посылаю его всей вашей проклятой земле... Я..." Только ей не дали договорить заклинанья, казак отрубил ей голову шашкой... кровь брызнула мне в лицо, ужасная седая голова, скатившись на землю, хлопала глазами, какие страшные белки!.. и язык высунула, длинный, белый, страшный... О! Я не могу забыть этой ужасной, хлопающей глазами головы, мертвой головы. Она заклала меня, испортила...

А из обоза опять доносится песня:

Подуй, подуй, погодушка — эх, не маленькая!  
Раздуй, развей рябинушку — эх, кудрявенькую!

— Проклятая песня!..

— Зачем проклятая! Наша родная, рязанская...

— Душу всю вымотала...

Настали прохладные сумерки. Костры все ярче и ярче разгорались. Знойный день забыт, забыты все трудности и опасности войны, тяжелые переходы, безводье, бесхлебье...

В обозе тренькает балалайка, а под это треньканье бойкий голос выгаркивает:

Вниз по Волге по реке,  
У Макарья в ярмонке,  
У Софонова купца,  
У гостинова двора,

Солучилась беда —  
Что беда-беда-беда,  
Эх, не маленькая!..

К утру молодой сержант метался в жару.

— Что, Сашка, голова болит? — спрашивают товарищи.

— Ох, как болит! Я не встану уж.

— Полно! Что ты! Простая лихорадка...

— Нет, я умру... Тут огонь...

Больной силился расстегнуть ворот рубашки... На голой, покрывшейся красными пятнами груди блеснул маленький образок-складень...

— Какой он горячий... Тут ее волосы... Ах, Лариса... милая... не видать уж мне тебя...

— Перестань, Саша... Сейчас доктор придет...

Больной прижал образок к пересохшим губам... Две слезы выкатились из-под отяжелевших ресниц и скатились с горячего лица на ковер.

— Когда я умру, положите со мной ее волосы... а образок отвезите ей, и мои волосы к ней отвезите... она просила...

— Ах, Саша, Саша!

— Мариула... это она, проклятая... "Помни Мариулу кагульскую"... Мертвые глаза хлопают... белки страшные... Мертвым языком она прокляла меня... Ох, душно... горит... дайте воды... льду... бросьте меня на лед... утопите в проруби...

Из-за приподнятого полога палатки показалось круглое, веселое, лоснящееся лицо.

— А! Доктор!

Доктор шариком вкатился в палатку.

— Что, батенька, лихорадочку стяпали, молдаваночку? А? Стяпали-таки? — улыбаясь и потирая круглые, пухлые руки, тараторил кругленький, словно на вате, доктор. — Лихорадушки-трясунюшки, в жар метанюшки... а?



— Нет, доктор, хуже...

— Те-те-те! Уж и хуже... Пустячки, батенька. А покажите язычок.

Больной с трудом открыл пересохший рот с запекшимися и растрескавшимися губами и показал кончик языка.

— Те-те-те... беленький-желтенький-сухенький... Ну, и глазки не веселенькие... Так, так... лихорадушку, батенька, стяпали... А мы ей, шельме, хинушки-матушки, да бузинового чайку, да ликворцу эдакого какого-нибудь, да господина Кастора Проносихина, да еще там того-сего сладенького, ну, и ее, шельму, как рукой снимет.

Смеясь и каламбуя, доктор, однако, зорко всматривался в его горящее лицо, в мутные глаза, в багровые пятна на груди.

— Ишь ты, шельма... Нет, батенька, мы ее в шею... Вот придут солдатики с носилочками да понесут вас, дружка милого, в лазаретный фургончик, там помягче, подушевнее будет...

— И я не умру, доктор?

— Ай-ай-ай! Уж и умру... Пустяки, батенька... Еще на свадьбе попируем.

— Ох, горит там... Лариса... милая... Матушка...

— То-то, Лариса... Занозила, знать... Ну, с Богом...

И доктор выюркнул из палатки. За ним вышел один из товарищей больного.

— Ну что, доктор, он опасен?

— Ничего, пустяки... Только вы, батенька, подальше от него: у него, шельмовство, гнилая горячечка... прилипчивая, сука, у! Прилипчивая!

— Так нет надежды?

— Пустяки! Как нет? Денька два поваляется...

— И встанет?

— Ну, уж встать где же!

— Как! Отчего же так долго?

— Да оно, батенька, недолго... Может, и сегодня Богу душу отдаст...

Черномазый сержант отскочил в ужасе:

— Что вы!

— Ничего... все пустяки... Тут отвертеться нельзя, вся кровь заражена. Завтра же похороним... Все же лучше умереть тихо, на постельке, а не под ножом у нашего старшего мясника, где-нибудь на перевязочном пункте... Там умирать неспокойно. А у нас... Ведь, подумайте, батенька, какое блаженство умереть на чистенькой подушечке с руками и ногами целехонькими, без крику, без гаму... Малина, а не смерть! Прощайте! Сейчас придут носильщики. А вы руки-то себе уксусцем помойте, да и вообще, одним словом, подальше от этой шельмы-молдаванки...

И доктор исчез за палаткой. А больной, лежа на своем жестком ковре, бессмысленно глядел на синее небо из-за полога яркое небо, которое обещает и сегодня быть таким же спокойным, каким было вчера... Вход в палатку обращен на север, туда, далеко-далеко, к родному краю... Там не так жарко, не так душно... никогда душа не горела там таким адским огнем.

Ох, тяжко... Седая голова качается... нет, это голова старой матери грезится наяву, а не страшная отрубленная голова цыганки... Кротко смотрят материнские глаза, так кротко, что, глядя в них, плакать хочется...

Из-за полога показывается морда собачонки и, весь в репейниках, хвост.

— А! Это ты, Малаша...

Малаша вбегает в палатку и радостно вертится около больного, стараясь лизнуть его руки, лицо.

И та страшная цыганка кагульская хотела лизнуть... Какой язык... какие белки!..

Входят носильщики. Что это у них на руках? Что-то черное... Смоляные рукавицы...

Вместе с ковриком его поднимают с земли и кладут на носилки.

"Так носят убитых... Разве я убит?" — думается смутно.

Несут... голова кружится... небо голубое-голубое, а словно оно опрокинулось... вертится... тополи куда-то бегут... Птица какая-то низко-низко проносится в воздухе и заглядывает в глаза... Чего ей нужно?..

Заной, заной, сердечушко — эх, ретивенькое!

"Что это, поют? Нет, это кто-то плачет... О ком?"

\* \* \*

Прошел и этот знойный день. Ранним утром, у берега, на пригорке, рыжий, с красными бровями солдат и мешковатый хохол копают могилу. Глубоко уже выкопали, так глубоко, что рыжей головы копальщика уже не видать оттуда. Из ямы вылетают только комья желтой сырой земли. Тут же и собачонка, которая любопытствует заглянуть в яму...

— В холодке будет лежать молодой сержант, — говорит рыжий солдат, отирая пот со лба. — Ну, будет.

Хохол молча подает руку и вытаскивает товарища из могилы. Собака радостно ластится к нему: она боялась, что рыжего зароят там.

А вон и его несут, того, которого зароят... Отец Сила с крестом впереди, многих он проводил с этим крестом... А "он" не он уже: это что-то завернутое в белый холст — ни лица не видать, ни рук, ни ног — просто белый мешок, несомый на носилках привычными руками в смольных рукавицах... Э! Мало ли их переношено!..

Ставят носилки у самой могилы... Батюшка что-то читает... "Земля еси и в землю отыдеши"...

А небо такое голубое, такое высокое... "Земля еси"...

## II. "ОНА, АНАФЕМСКАЯ, ЛЕТАЕТ..."

Холодное осеннее утро. Чуть брезжут на небе медленно потухающие звезды. В морозном воздухе далеко разносится какое-то, словно бы усталое, бряканье колокольчика. Привычное ухо отличает в этом бряканье голоса почтовых колокольцев.

Там, откуда несутся эти усталые позвякивания, темно еще, ночные тени не сходят еще с земли. Да и везде кругом темень, ночные тени. Только вдоль одного воскрайка неба, к северу, тянется неровная линия каких-то зловещих огней: не то горят разложенные костры, не то полоса пожаров растянулась от одного края горизонта до другого — то ярко вспыхнут и трепыхаются огненные пасмы, то мигают во мраке отдельные огненные пятна и точки, словно глаза волка, в глухую ночь пробирающегося к овечьему загону.

Что это такое?.. Что за зарево?

Звяканье колокольцев все ближе и ближе. Из тьмы неясно вырисовываются очертания дуг, лошадиных голов, каких-то повозок... Ближе и ближе, яснее и яснее выступают из мрака кони, повозки, очертания возниц, людей.

Проезжающие в двух повозках: одной, крытой к задку, кузовом, другой простой ямской телеге. Они-то и звякают сонными колокольцами.

Жутко, страшно смотреть издали на эту неведомую линию огней и дыма с куревом... Да, виднеется и дым по мере приближения к линии огней... Словно земля вспыхивает и горит — и страшен вид этой горящей земли. Кто же жжет землю?

Вон бродят какие-то тени около огней. Виднеются шесты, колья, дубье и еще что-то длинное в руках этих зловещих человеческих теней.

— Что это за зарево? — тихо спрашивает молодой, в дубленом полушубке с военными нашивками проезжий, что в первой повозке. — Разве под Москвой, у Коломны, паливали когда степи, как палят их по Дону, на низах да по Пруту в Бессарабии?

— Не степи палят, а это, поди, бекеты, — так же тихо отвечает другой, рядом с первым сидящий проезжий, одетый в волчью шубу.

— Зачем бекеты? Какие?

— Сторожевые... карантенные... Вот влопались!

— Что ты, Игнатий! Ужли карантен? Вот беда! — испуганно воскликнул первый.

— Что? Что такое? — удивленно спрашивает третий путник в медвежьей шубе, проснувшийся от восклицания первого.

— Беда, полковник... На карантен наткнулись, кажись... Бекеты...

— Да их к Москве не было...

— Вон огни... курево... народ.

А огни все ближе, ярче, зловещее... И зловещие человеческие фигуры с дубьем, длинными шестами и баграми тоже надвигаются ближе...

— Стой! Кто идет? — раздается голос из кучки, загородившей дорогу.

— Остановь лошадей! Ни шагу!

Окрики грозные, решительные. Так даром кричать не станут... Дело нешуточное, окрик ставят ребром...

Повозки останавливаются. Дубье, шесты, багры, кулаки в чудовищных рукавицах, энергичные жесты этих чудовищ-рукавиц в воздухе, да перед всем этим кто не остановится!

— Кто едет?

— Ее императорского величества войск полковник и кавалер фон Шталь! отзывается смелый голос из медвежьей шубы.

Дубье, вилы, шести, багры надвигаются гуще, но не ближе... Зипуны и кафтаны скучиваются, вырастают в стену, а за ними гул, треск, новые голоса...

— А откелева путь держите? — допрашивают люди с дубьем.

— Из благополучного места, — отвечают из повозки.

— А из каково-таково? Сказывай!

— Из города Хоти на...

— У!.. Гу!.. У! — начинается ропот. — Нету таково города...

— Нету, не слыхивали. У!.. Гу!..

— Прочь с дороги! Пропустите! — повелительно кричит полковник фон Шталь, тот сухой немец с холодными глазами, которого во время привала русских отрядов при Пруте, в Бессарабии, мы видели в палатке генерала фон Штофельна. — Расступись! Я по казенной, от его сиятельства графа Румянцева-Задунайского.

— Не пропускай, братцы! В загон их! — угрожающе выкрикивают десятки глоток.

— В досмотр их! В карантей! Гони в карантей!

— Заворачивай назад, откуль приехали...

— Что вы! Взбесились!..

Да, взбесились... Страшно волнующееся море серых зипунов, когда оно взбесится, ошалеет... Вторая телега тоже наткнулась на дубье...

— Стой! Кто едет? Откелева?

На этот отклик из телеги залаяла собака.

— Стой, черти! Кто едет? — повторяется оклик.

— Ординарцы полковника Шталова! — бойко отвечает знакомый голос, голос рыжего солдата с красными бровями, того, что рыл могилу молодому сержанту на берегу Прута.

— Откелева?

— Из благополучного места.

— Каково таково?

— Та из благополучного ж, чертовы москали! — раздается сердитый оклик из телеги, и тоже знакомый голос: это голос того мешковатого хохла, что там же, вместе с рыжим солдатом, у Прута, рыл могилу молодому сержанту.

— Не пущай! Гони и этих в карантей! В загон их.

— А, бисова Москва! — ворчит хохол.

А Маланья заливаается, лаает на страшных людей, лавой обступивших телеги...

Прибывают новые толпы, словно из земли вырастают. Зарево огней зловеще отражается на их длинных баграх, на верхах нахлобученных на глаза шапок. Толпы густеют и надвигаются, виднеются уже страшные, озверелые лица ожесточенных страхом и несчастьями людей.

— Стой, робя! Не подходь близко!

— Не подходи! Она на два-сорока сажон берет...

— У-у-у! Бей их! Что глядеть!

— Бей, братцы! Язвенные...

— Из язвенных мест, из мору самово. Бей их!

— В огонь их! Баграми бери!

— Не подпущай их, братцы, не подпущай!

— Баграми тащи!

— Не трошь!

— Чаво, "не трошь"! Куда лезешь?

— Не трошь, говорят тебе, багром! Она по багру дойдет...

— Знамо, дойдет... Она хуже птицы, летает она...

— Она одново огня боится... Мышь словно летуча, нетопырь...

— Не подходи, православные! Бога вы не боитесь! — раздается новый голос. — Она летает... она в Киев из туречины на сорочьем хвосте прилетела.

Толпа замирает на месте от этих слов... Она летает, что ж еще может быть ужаснее!.. Замерли и проезжающие... Безжалостная, беспощадная, "наглая"



смерть глядела им прямо в очи... Храбрый по долгу службы, аккуратный по воспитанию, немножко педантический по темпераменту, немножко вороватый по крови, немец фон Шталь мысленно прощается с своею доброю супругою Амалиею, с своим сыном Карлушею, который весь в папашу, с своею дочкою Вильгельминушкою, которая вся в мамашу, и с своим генеральским чином, к которому он уже представлен его сиятельством, графом Петром Александровичем Румянцевым-Задунайским... Сидящий против него в повозке молодой сержант Рожнов Игнаша тоже мысленно прощается с своею молодостью, с белобрысенькою, курносенькою, прехорошенькою Настею, которую он надеялся сегодня же обнять в Москве после долгой разлуки, обнять там в "сенцах", где когда-то в первый раз они... Эх!..

Все замерло, застыло в недоумении, в страхе, в нерешительности... Но недолга эта нерешительность в обезумевшей толпе: ожидание беды, острый страх опьяняет как вино, страх за свои дома, за своих жен и детей, за свою жизнь... Тут один неосторожный крик доводит толпу до умоисступления, осатаняет... И этот крик, этот вопль раздается...

— Дядя Сырой, стреляй в их!

— Пали из поганого ружья! Она боится пороху, огня... Лущи их.

— О, мейн Готт. Дас ист шрекклихер альс бай Кагуль<sup>1</sup>  
— шепчет растерявшийся храбрый немец...

— Господи! Прими душу... Настя... Настенька...

В этот момент позади толпы раздается конский топот... Толпа колыхнулась... Это скачет конный разъезд, пики, сабли блестят...

— Прочь с дороги, разбойники! Кого грабите? — резко кричит передовой всадник.

— Что кричишь! Эвона! Мы не разбойники, не грабим-ста...

— Мы язвенных пымали, моровых...

— Чумные, слышь... Крадучись едут, — галдит толпа вперебой друг другу.

— Прочь, мерзавцы! Стрелять велю, колоть, рубить...

— Колоть! За что колоть?

— За что стрелять? Мы-ста не турки...

— Хуже турок, сволочь!

Всадники напирают конями, топчут, колотят взашей палашами... Толпа раздается... Смиреет за минуту грозная толпа, руки невольно поднимаются к шапкам, рыжие и русые всклокоченные головы обнажаются... Видны и свирепые лица, но нерешительные... некому крикнуть "братцы!", а то бы...

Передовой всадник, в конногвардейской форме, приближается к приезжим, не подъезжая, однако, к самым повозкам.

— Кто едет и откуда? — повторяется прежний допрос.

— Войск ее императорского величества полковник и кавалер фон Шталь, комендант города Хотина, с двумя сержантами и ординарцами. Еду в столичные города Москву и Санкт-Петербург по делам службы...

— А! Имею честь рекомендоваться, господин полковник: я — конной гвардии полковой обозной Хомутов, по высочайшему ее императорского величества повелению командированный под главное смотрение и распоряжение его сиятельства, господина генерала фельдмаршала и московского главного начальника, графа Петра Семеновича Салтыкова, для наблюдения за проезжающими из армии и Малороссии и для выдержания таковых в карантен... Как же вы, господин полковник, попали сюда? — спросил начальник конного разезда, отрапортовав казенным штилем и с должным решпектом о своем звании.

— Да я, господин офицер, еду на Коломну.

— Но вы, господин полковник, съехали с почтового тракта...

— Это неспроста... они язвенные... чуму везут, — слышалось в толпе.

— Молчать! А то нагайками...

Многие в толпе почесали спины, по рефлексам ручных мускулов, по воспоминаниям, вспоминались ощущения нагаек... "А хлестко бьются, каналы, у! хлестко..."

— Как съехали, господин офицер? — недоумевает фон Шталь.

— Съехали, господин полковник... Почтовый тракт левее...

— Точно, вашеско-родие, съехамши маленько... нечистый попутал, чешутся ямщики. — Темень это ночью, вздремнули, поди, маленько, попутал лукавый.

— То-то! — засмеялся начальник конного разъезда. — Вас было за это и приняли в дубье...

— Это точно, вашеско-родие, приняли было... опаско...

— Язвенны, думаем, чуму везут...

— А она, анафемская, чу, летать, как птица, ну мы ее и надумали в огонь...

Толпа галдела уже в более мирном духе, от сердца отходило...

— Ну, господин полковник, вы и ваши служащие подлежите карантенному осмотру: я должен препроводить вас в карантен, для осмотра, — сказал Хомутов.

— Что делать, господин офицер! — со вздохом сказал фон Шталь. — Я не смею ослушаться закона... Я всегда был верным слугою ее императорского величества, всемилостивейшей государыни моей.

Светало совсем... Линия кордонных огней, тянувшаяся вдоль всего нагорного берега Оки,

бледнела по мере исчезновения сумерек. Предрассветным ветерком дым гнало вдоль реки, и картина была все еще внушительная, зловещая... Лица народных стражников, сошедшихся и согнанных из всех окрестных правобережных сел, при утреннем свете казались бледными, истомленными... Да и как не истомиться в голоде и холоде, в ежеминутном ожидании, что вот "она", анафемская, невидимая, неслышимая, на птичьих крыльях летающая, за багры и шесты, как бешеная собака, цепляющаяся, за зипуны хватаящая — она, страшная, которой никто не видал и которой походки и лету никто не слышал, она вдруг придет... может быть, уже пришла, сидит вон на том камне, вон там за кустом, на этом колесе, может, она на этой дуге сидит, в ямской, в валдайской колоколец звонит, в очи каждому смотрит, за плечи хватает, по телу мурашками ползает, как тут не исхудать, не побледнеть? "Одного огня, слышь, боится, ну, и жарь ее, анафемскую... А все за грехи да за нечистоту, сказывают господа... А где ее, чистоты-то этой, взять?.. До чистоты ли тут, коли на камне, в канавке, в кусте головой с ногами в лаптях без онуч, а где взять онуч? коли так-ту, по-скотски, по-собачьи спать-жить приходится? Где ее, чистоту ту, взять, коли в избе ребяткам малым да бабам с телкой сутельной да со свиньей супоросой спать приходится вместе? И то слава те Господи, коли есть телка... А то и на печь бы ее положил, за стол в передний угол посадил бы ее, коли бы была... а то нетути и ее, продана, а денежки за подушно дадены... А то — "чистота!". Где ее, чистоту-ту, взять, коли нечего жрать? Ну, и язва, ну и чума приходит, потому ни хлеба, ни чистоты нетути, начисто!.."

Толпа редела. Понурые головы расходились к своим сторожевым кострам...

— Ямщики, трогай! — скомандовал Хомутов, молодой видный мужчина, с простым добродушным выражением на круглом лице.

Повозки своротили влево и поехали узким проселком. Разъездная команда, по наряду Хомутова, разделилась надвое, и одна половина ее поехала берегом Оки вниз по течению, вправо, другая взяла влево, по направлению к Коломне, высокие колокольни которой красиво вырезывались по ту сторону реки, на синеве чистого утреннего неба... Доносился звон колоколов, не то утрени, не то ранние обедни шли... Должно быть, горячо молятся люди, видя эти зловещие огни и курева за рекой... Как не молиться?.. Вон и колокола звонят как-то молитвенно, в душу звонят, к самому небу кричат, к Богу, и в душе растопляется в елей этот медный, молитвенный звон... Молись, бедный русский народ, не на кого тебе надеяться, кроме Бога... Вон идет она поражать за твою нечистоту и бедность...

— А что у вас в армии новенького, господин полковник? — спрашивает Хомутов, следуя рядом с повозками, но в почтительном от них отдалении.

— Ничего, господин офицер, кроме благополучия, — отвечает все еще плохо оправившийся от переполоха храбрый немец. — Победы нашему храброму воинству Бог дарует.

— Да, точно... Кагул и Чесму не забудут турки.

— Не забудут (а в душе все еще грозные лица, дубье, багры, страшные возгласы толпы, не забудет и он своего Кагула и своей Чесмы в виду Коломны).

— И удивительно, точно сговорились наши полководцы: тут у Кагула поражают неприятеля 21 июня, в день святого мученика Иоанна, а там при Чесме — 24 июня, в день рождения Иоанна Предтечи.

"Настенька... милая... красавица... Эх, задержут в проклятом карантене... Что-то она, похорошела?" —

невольно, после беды, мечтается Рожнову при виде колоколен Коломны.

Заной, заной, сердечушко — эх, ретивенькое!..

— А вы из Петербурга сюда командированы?

— Из Петербурга... Скучно здесь...

— А давно?

— Недавно, только что учредили карантен.

— И долго нас, государь мой, продержите вы?

— Не знаю, господин полковник, как доктор за нужное признает... А вон и монастырь ваш.

— Карантен?

— Да, он самый.

Все со страхом взглянули на длинные, деревянные, наскоро сколоченные сараи, раскинувшиеся по нагорному берегу Оки, против самой Коломны... Бойни какие-то, с часовыми по концам и у ворот — настоящие загоны, куда скот перед боем запирают... Даже полковая Маланья, высунув из соломы свою умную мордашку, с удивлением посматривала то на эти сараи, то на хмурое лицо хохла, которому, в проезд через Малороссию, не удалось повидаться с своею "дивчиною", с "чорнявенькою" и "кирпатенькою" Горпиною... Уж и "дивчина" же эта Горпина! "чорна коса, як Горпина йде, по ягодицам бье"... "билы щоки мов вишнею намазани"... "чорны брови на шпурочку"... "а за пазухою таке, що и не вщипнешь, и в величенну шапку не влизут"...

Над всем зданием и вокруг него клубами ходит дым. Своеобразный смолистый запах этого дыма слышится издали. Страх невольно забирается в душу... Это жертвенный дым, исходящий из великой скинии для умилоствления гневного божества...

Мычанье скота, запертого в загоны и окуриваемого, тоску наводит... Повозки проезжают мимо

свежевырытого рва, который тоже дымится. По сю и по ту сторону рва рогатки; это запоры для нее, для смерти, которая носится в воздухе вместе с дымом...

Из-за тогбочных рогаток какой-то всадник машет шапкой. Хомутов осаживает своего коня. Это вестовой казак из города прискакал, шапкой знаки подает...

— Откуда, Гаврилыч, и с чем? — кричит Хомутов вестовому.

— Из моровой комиссии, ваше благородие! — приложив ладони ко рту, выкрикивает тщедушный "Гаврилыч".

— С чем?

— С вестями... Лепорты привез.

— Давай!

Казак достает из подсумка, висящего через плечо, пакет с "лепортами". За плечами у казака лук и в кожаном, потертом донельзя колчане вязанка самодельных стрел с грубыми наконечниками. Вестовой вынимает из колчана одну стрелу и к первому концу ее привязывает пакет. Затем снимает с плеча лук, накладывает на него стрелу и натягивает тетиву.

— Ловите, ваше благородие! — кричит он.

Стрела взвизгивает, перелетает через ров и рогатки и падает у самых копыт коня Хомутова.

— Ловко, молодец, как раз угодил, — одобряет Хомутов вестового. — Вот какова у нас почта, на стрелах любовные цидулочки из моровой комиссии получаем, — улыбаясь, обращается он к приезжим.

— О! Дас ист цу шрекклих! — не вытерпливает немец.

— Ну, шрекклих не шрекклих, господин полковник, а скучно.

Один из казаков, сопровождавших Хомутова, соскакивает с коня и, подняв стрелу с привязанным к ней пакетом, подает ее офицеру...

— По секрету, ого! — читает Хомутов надпись на пакете.

Вестовой, что привез пакет, снова машет шапкой из-за рогаток.

— Ваше благородие! Ваше благородие! — кричит он в рупор из своих ладоней.

— Что тебе, Гаврилыч?

— Квиток, ваше благородие!

— Какой там квиток?

— Квиток... расписочку, значит, что получил лепорт.

— Ладно, подожди! — потом, обратясь к фон Шталю, прибавил: — Ведь у нас и расписку ему выдать не иначе можно, как через карантен. Сначала ее напиши, да высуши, да в уксус омочи, да там ее через огонь окурят, тогда и бросай на стреле на тот бок... Беда! А то она, проклятая, может, на клочке бумаги сидит, либо в чернильницу забралась, либо на конце пера угнездилась, ну, без карантену да без окуриванья огнем и нельзя ничего посылать на тот бок... Перекинешь и ее анафемскую на стреле... Вот дожили.

Повозки остановились у ворот карантина. Ух, это точно кладбище для живых...

---

## Сноски к главе

1—О, Боже! Это ужасней, чем при Кагуле (*нем.*)



### III. КАРАНТИН. БЕГСТВО ЗАБРОДИ

Карантинные здания состояли из трех рядов низеньких, длинных, отгороженных одна от другой деревянных казарм, при одном взгляде на которые у приехавших сжалось сердце.

Собственно карантинные лазареты расположены были по краям этого живого кладбища. Это были длинные, очень длинные параллелограммы, с своей стороны разбитые на маленькие, в несколько сажен параллелограммики, в которых вмещались маленькие дворики с крохотными, на одной стороне крытыми навесниками и такими же крохотными в два крохотных окошечка домиками, находившимися в общей связи и под одною тесовою крышею со всеми прочими крохотными домиками общего, большого, сильно удлинненного лазаретного параллелограмма. Достаточно вообразить длинную, очень длинную, конюшню, разбитую на соответственное число стойл: каждое стойло вмещает в себе и крохотный домик со светлою комнаткою, кухнею и печкою; и свой длинненький, открытый, но отгороженный от другого, дворик; и свои отдельные воротцы, запертые на замок, ключ от которого у карантинного доктора; и свое единственное отверстие, в которое по маленькому желобику вливают воду в чан для заключенных в этом параллелограммике...

По длинной крыше лазаретов лепятся трубы по числу карантинных покоев.

Между лазаретами тянутся карантинные службы, заключенные в особую деревянную ограду: на первом плане караульня, вмещающая в себе покои офицерские, писарские, унтер-офицерские и жилья для часовых и конвойных. Далее покои для доктора, аптекаря и

фельдшеров, покои комиссарские, служительские для могильщиков ("мортусов" в смоляном платье); особо для поваров, прачек. Тут и амбары для съестных припасов, и амбары курительные, и сараи для карантинного имущества, для скота...

Все чувствует себя заживо погребенным, вступая в это чумное чистилище... Никто не смеет приблизиться друг к другу, прикоснуться, каждый боится всех и все каждого...

По знаку Хомутова привратник растворил карантинные ворота, и повозки въехали во двор.

На дворе было пусто: в тот момент, когда во двор вступали вновь прибывшие жертвы чистилища, никто, кроме доктора и его помощников, а ровно страшных "мортусов", одетых во все смоляное, в смоляных рукавицах и в смоляных масках на лицах, никто не смел показываться на дворе.

Выходит доктор, молодой, плечистый, полнолицый мужчина, которого жизнь, по-видимому, еще не истрепала и который еще ищет на жизненной арене борьбы, подвигов, опасностей, ищет пробовать свои силы и силы неведомого, страшного, но тем более обаятельного врага.

Начинается, пока опять-таки издали, обстоятельный допрос: кто, откуда, с чем, зачем... В ответе слышатся слова, названия, звучащие особенно внушительно: "Хотин", "Бессарабия", "Кагул", "турки", "армия", "Малороссия", "заставы"...

— Вы подлежите тщательному осмотру, — говорит доктор после предварительного допроса.

Приезжие непосредственно из чумных мест — да это такие интересные, драгоценные субъекты для молодого, любознательного врача, который жаждет помериться силами с неведомым чудовищем!

— Пожалуйста в визитную камеру, — говорит он любезно, — я имею честь с вами короче познакомиться,

и лично, и... телесно, — шутит молодой врач. Эй, вы! — машет он страшным мортусам, стоящим в стороне и ждущим своих жертв. — Отберите все вещи, которые принадлежат приезжим... Лошадей с ямщиками и повозками, господин полковник, вы отсылаете обратно? обращается он к фон Шталю.

— Да, государь мой... Отберите все наши вещи и расплатитесь с ямщиками, — приказывает он своим ординарцам.

Бедная Маланья забила в солому и со страхом лает оттуда на страшных мортусов, она никогда еще не видала таких чудовищ.

— А эта собачка ваша? — спрашивает доктор.

— Наша, господин доктор.

— Казенная, полковая собственность, — улыбается сержант Грачев, широкоплечий друг Рожнова Игнашки, хотя у самой кошки скребут на сердце.

— А... Эй, мортусы!

Мортусы, взятые из тюрьмы каторжники, которым все равно не житье на вольном свете, и засмоленные от смерти, подходят к доктору.

— Возьмите эту собачку и привяжите особо... Она также подлежит карантинной выдержке...

— Воно, ваше благородие, не дастся, — пасмурно замечает мешковатый хохол.

— Как не дастся?

— Ни, не дастся, оно зло...

— Вот тебе на! — смеется доктор.

— Воно им, этим чертям, руки покусает...

— Ничего, не покусает...

Приезжих вводят в визиторскую камеру. Тут тоже торчат черномазые, в образе эфиопов, мортусы.

— Прошу, господин полковник, раздеться донага, — обращается доктор к фон Шталю.

Немец повинуется, ворча себе под нос: es ist abscheulich<sup>1</sup>. Рыжий помогает ему раздеться, снимает с него рейтузы, сапоги, чулки и обнажает сухие щепки, обтянутые сухой кожей... Немец ежится...

— Ничего, прекрасно... тело чистое... язвенных знаков нет, — бормочет доктор, внимательно всматриваясь в сухую, пергаментную кожу немца. — А это что за синий знак под левым сосцом?

Немец конфузится...

— Это ничего, так себе, пустяки, господин доктор...

— Однако же? Я все должен знать...

— Пустяки... глупость молодости... это имя Амалия, моей супруги... выжжено... порохом натерто...

— О! Понимаю, понимаю... Довольно... Обмыть господина полковника и одеть в карантинное платье, — приказывает он приставнику с мортусами.

Раздевают и осматривают молодых сержантов, сначала широкоплечего атлета Грачева.

— О! Завидное, богатырское сложение... дыхательный ящик бесподобный, есть где поместиться легким и всему рабочему аппарату тела, — удивляется словоохотливый доктор. — А это что у вас на шее?

— Образок... Память умершего друга...

— Умершего?.. Давно?

— В мае, господин доктор.

— А где?

— В Бессарабии, у Прута, недалеко от Ясс, на привале...

— Гм... А какой болезнью?

— Гнилою горячкой, господин доктор...

— Гм-гм... Гнилою горячкой... с пятнами?

— Да, с пятнами...

— Быстро? Да?

— Да... скоро... очень... в два дня...

— Гм... И этот образок был у него на теле?

— Да, господин доктор... Я везу его к невесте покойного и к матери.

— Так-так... прекрасно... Это вы знаете, что везете у себя на груди? Чуму!.. Только благодаря вашему богатырскому здоровью вы еще ходите по земле с этим страшным талисманом на теле... Взять его и особенно рачительно окурить и выветрить (это к фельдшеру).

Грачев снимает с себя образок и отдает фельдшеру.

Упрямее всех оказался мешковатый хохол: уперся, как вол, и не хочет раздеваться...

— Раздевайся! Я тебе приказываю! — горячился доктор.

— Ни, ваше благородие, не треба...

— Как не треба! Что ты!

— Не треба-бо... не гоже воно... соромно...

— Вот чудак! Соромно ему... Как же все раздевались, и господин полковник, и офицеры?

— Та негоже ж!.. Вони тут. (Хохол указал на полковника.)

— Я тебе приказываю... Слушай команду: долой платье! — скомандовал немец, на голом теле которого не оставалось никаких знаков полковничьего звания.

"Слушай команду" было магическим словом для упрямого хохла: он тотчас же сбросил с себя одежду и, вытянувшись в струнку, руки по швам (швов, правда, уже не было на голом теле), стоял колосс колоссом... Эка телище! Эка мускулы стальные, что за грудь и плечи! Недаром так млела и трепетала на этой каменной груди "чорнявенькая" и "кирпатенькая", тоже с богатырскими, только в своем роде, грудями, дивчина Горпина...

— Что за молодчина! — вырывается невольное восклицание доктора. — Да этого бронзового тела никакая чума не возьмет... Ну, молодец, братец!

— Рад стараться, ваше благородие!

Чего тут стараться! Сама природа постаралась сколотить такую грудь, такие мускулы, вырастить такую косую сажень... Хорошая была матушка, породившая такое чадушко, да и природа, знать, была не мачеха, что вырастила, вылелеяла, выходила такое тело, славное, молодецкое... Украина-матушка, хатка беленькая, чистенькая, садочек вишневый, вербы шумливые, "гаи зелененьки", поля цветливые, солнышко жаркое да приветливое, реки с берегами густолозовыми, ночи чудные, песни дивные, вот что вырастило, выхолило этого детину бронзового... Это не то, что вот москали с дубьем, что живут как козы голодные, как "коза-дереза". А он и ел вдоволь, и пил воду из чистой "криницы"...

— Ну, молодец! В гвардию бы такого.

— Я и везу представить его... — самодовольно заметил немец.

— Отлично! А как тебя зовут?

— Василием... Василий Забродя, ваше благородие.

Начался процесс обмывания водой с уксусом. После обмывания на приезжих надели казенное карантинное платье, на офицеров потоньше, а на солдат потолще; а снятое с них платье обозначили особыми номерными ярлыками и сдали для окуриванья и проветривания в особых курительных сараях.

На дворе слышится хохот и собачий лай. Это мортусы хотят лишить свободы полковую Маланью, которая так же упряма, как и ее любимец Василь Забродя...

Из визиторской камеры приезжих повели через двор в самый карантин, в тот огромный параллелограмм, который разбит был на маленькие параллелограммики.

Полковника с сержантами доктор ввел в крайний дворик и объяснил им его расположение и все, что нужно им было знать.

— Вот здесь, господа, на дворе, вы будете гулять в ясную погоду...

— Есть где разгуляться! — невольно заметил Грачев.

— По две квадратных сажени на персону приходится, конечно, немного!..

— Это гроб...

— Ну, уж и гроб... Помилуйте... Гроб теснее... А вот милости просим в покои, добро пожаловать, господин полковник.

Немец следовал за доктором молча, насупившись... В карантинном платье он смотрел совсем не храбрым полковником, который еще недавно дрался на Дунае с турками.

Они вошли в домик в два окошечка.

— Вот ваши койки, жестковаты, правда, но чисты... Вот скамеечка, тут и вся кухня ваша... Только уж извините, господа, вы сами должны быть и поварами для себя.

— Как? Почему так?

— С этого момента, как я ввел вас в это помещение, вы разобщаетесь со всем миром. К вам ни одна живая душа не смеет входить, кроме меня и фельдшера. Провизию вам будут вносить в ту вон калиточку, ключ от которой у меня, и ставить на землю, а уж готовить извольте вы сами. Вода проведена к вам в особый чан. Порции я вам пропишу хорошие, провизию питательную, вы заживете припеваючи...

— Что ж мы будем тут делать? — с досадою спросил полковник.

— Все, что угодно...

— То есть как же? И читать?

— О, нет! Да и читать у нас нечего... Во всей Коломне я видел один истрепанный номер "Трудолюбивой Пчелы", но и тот сюда не дадут, побоятся заразы... Мы, господин полковник, от мира отведенные...

— Но это ужасно! Я привык к смотрям, к ученью...

— Ну, этого у нас здесь нет... Развлекайтесь, как умеете: спите, гуляйте, кушайте, пойте...

— Мы будем сказки сказывать друг другу, — засмеялся Рожнов.

— Да, сказки... Ну вот кстати: у вас тут и развлечение... Пожалуйте к этому окну.

Подошли к окну, выходявшему не во двор, а в поле. Действительно, внизу синелась Ока, по которой кое-где колыхались облачка карантинного дыма. У того берега виднелись запоздалые суда. Редко-редко темнелась на воде лодочка... Да и кого понесет оттуда на эту чумную, обреченную смерти сторону?.. Коломна смотрит как-то пугливо, словно прячется... Высокие колокольни высятся по небу, словно вздетые горе руки, просящие у Бога пощады, помилованья... Спаси, Господи, люди Твоя!.. Не отврати лице Твое...

— Здесь и вид прелестный, и людей живых и свободных вы видите, сказал доктор.

Да, там люди, много людей. Это карантинный рынок на берегу Оки... Но, Боже мой! Что-то страшное, пугающее воображение видится и в этой картине...

Вдоль берега тянется двойной ряд рогатных заграждений. Рогатки от рогаток стоят более чем на сажень. Среди этого интервала нет ни одного живого существа в человеческом образе, снуют только засмоленные с головы до ног мортусы. Вдоль рогаток часовые, строго следящие, чтобы толпы, стоящие по сю сторону рогаток, не имели никакого соприкосновения с теми, которые по ту сторону.

— Господи! Да она, проклятая, всех сделала арестантами... Вся Россия под конвоем! — невольно воскликнул Грачев, поняв, что изображала собою картина карантинного рынка.

Да, действительно, этот бич Божий все человечество превращает в арестанта... Каждый под стражею, каждый боится всех и все каждого... Везде часовые, рогатки, дозор, конвой, только кандалов не видать... Люди, съехавшиеся на рынок по крайней, буквально по



голодной нужде, не смеют, ужасаются приблизиться друг к другу. Продавец боится покупателя, покупатель с ужасом смотрит на продавца... А может быть, у него зараженный товар, зараженная мука, крупа, яйца... А у покупателя, быть может, зараженные деньги... Да это ужас! А есть и тому и другому хочется... Господи! Да за что же этот бич? За грехи, за бедность да нечистоту.

По ту сторону рогаток это те, которые живут по ту сторону карантинной линии, за Окой... Это самые бедные из коломнян, которым там, в Коломне, есть нечего, все вздорожало, и они с голоду, с риском за свою жизнь (все равно помирать от голоду придется), перебираются сюда, на чумную сторону, чтобы купить чего-либо съестного подешевле... А может, оно заражено... ну, все равно пропадать!

Как по ту сторону карантинного ограждения толкаются только самые бедные и самые голодные из нечумной местности, так и по сторону ограждения бродят только самые бедные и самые голодные из чумной полосы... Там голодные покупатели, здесь голодные продавцы... Курочку ли продать, барашка, коли у кого есть, овсеца, мучки сбывать туда да заплатить подушные, а там купить бы чего подешевле да утолить голод... И все это под арестом.

И вот идет страшный торг между арестантами. Люди торгуются через рогатки, при посредстве коммортусов. Здешние чумные продавцы кладут свой товар на землю, за рогатку, и ожидают полочки денег; а тамошние, тогбочные, коломняне, показав издали деньги (тогда еще не было бумажных денег в таком изобилии, как теперь, а ходила больше звонкая монета), опускают их в длинные чаны и корыта, наполненные водою с уксусом. Один мортус подходит и берет товар и переносит через разложенные вдоль всего ограждения горящие костры, если товар — мясо... товар окуривается... Если товар — птицы или овцы, то их

тотчас моют в чанах, тоже наполненных водою с уксусом... Другой мортус вылавливает из чана или корыта деньги и вручает их продавцу...

Огонь и дым костров, крик купаемой в чанах птицы, бляеные овец, принимающих невольную ванну, возгласы часовых: "Стой! Не ходи! Берегись!" и покрикиваньи мортусов на продавцов и покупателей — "Бери алтын! Тащи поросенка!" — визготня адская этих самых поросят, окунаемых в чан с уксусной водой — и над всем этим как бы невидимый перст гневного Бога: на кого он направится? Кого назнаменает знамением смерти: кого первого выхватит из этой робкой, растерявшейся толпы, кого второго, третьего?..

И вот потянулись бесконечные дни и ночи для наших заключенных... Тоска неисповедимая! Каждое утро невидимая рука оставляла у калитки карантинного дворика дневную порцию съестных припасов и дров. Каждый день заходил словоохотливый доктор, который для заключенных казался вестником жизни, посланником Бога милующего и спасающего... По целым часам они стояли у окна, выходявшего на Оку, смотрели на карантинный рынок, на Коломну, высокие колокольни которой продолжали тянуться с мольбою к безжалостному небу.

Сначала фон Шталь завел было у себя на дворике маневры, смотры, ротное ученье, немилосердно муштровал бедных сержантов, попеременно муча своими командирскими затеями то широкоплечего Грачева, у которого из головы не выходил образок-медальон покойного друга, талисман, несущий будто бы чуму в Москву, то черномазого Рожнова, у которого, напротив, не выходила из головы Настенька и какие-то "сенцы, где в первый раз"... и так далее... Голос фон Шталя, выкрики "направо" и "налево", "стой-равняйся" и "марш" раздавались от раннего утра до обеда; но потом и это надоело, и настал период сказок: немец так

полюбил русские сказки, особенно искусно рассказываемые Грачевым, что и по ночам не давал ему спать, заставляя рассказывать то о "трех-сын-добром молодце", то о "моложеватых яблоках", то о "семи Семионах".

Забродя и его рыжий товарищ, которого, кстати заметим, звали в полку "Рудожелтым Кочетом", помещались рядом с своим начальством, забор к забору. В их же дворике поместили и "полковую Маланью", которая этому была очень рада и служила источником нескончаемых утех для заключенных. По целым часам они учили ее прыгать через палку, носить им шапки, стоять на задних лапках и, наконец, ухитрились восстановить ее даже против чумы: для этого Рудожелтый Кочет нарисовал на заборе углем какую-то страшную фигуру, вроде богатыря Полконя или Полкана, и назвал ее "чумой". Сделав страшные глаза и став на четвереньки, рыжий обыкновенно с рычаньем бросался к нарисованному на заборе чудовищу, бормоча: "Чума! Чума! Чума!" Маланья, по природе доверчивая, видя в таком азарте своего господина, тоже с неистовым лаем бросалась на мнимое чудовище, и торжество скучающих заключенных выходило полное, так что им даже завидовал сам фон Шталь.

Несмотря, однако, на эти забавы, Забродя тосковал. Им все больше и больше овладевала тоска по родине. Особенно по ночам он нигде не находил себе места. Он уже и счет потерял этим проклятым ночам!

И вот опять тянется эта скучная, томительно-длинная, бесконечная ночь. Товарищ, растянувшись на койке, ровно, однообразно посапывает. Все спит, не спится одному лишь Забрوده, не спится, но много думается. Вспоминается родная Украина, белая хатка в тени густолистных верб, зеленая левада и вишневый садочек... Уж эти вишневые садочки! Из-за них украинец на чужбине сохнет и на кушаке вешается...

Вспоминается Заброде последнее свидание с Горпиною в этом садочке накануне рекрутчины... Забродю берут в "москали", завтра ведут в город "сдавать" как товар... А они с Горпиною думали под венец стать, своею хаткою с вишневым садочком обзавестись... Так нет, взяли-таки в "москали", не пожалели ни Горпининых горячих девичьих слез, ни материных вдовьих, самых горячих на свете слез... Да, все это припоминается в эту долгую осеннюю ночь в московской тюрьме проклятой...

Вот из-за бузинового куста тихо выходит заплаканная Горпина... А соловейко-то щелкает, соловейко заливается — словно "дяк" ночью читает над покойником... Горпина так и повисла на воловьей шее парубка захлебывается, плачет, обнимаючи да целуючи черноусого... И он всплакнул "парубоцькими" жгучими слезами, целуючи свою кароокую, полногрудую дивчину... А девичьи груди разорваться хотят под безутешное всхлипыванье, так и колотятся об богатырскую грудь парубка... "Серденько мое!.." "Яблучко мое червонее!" — "Василечку мий, барвиночку зеленый, ох, ненько ж моя, матинько!" — "Я вернусь до тебе, моя ясочко"...

— Э! Вернусь... Как тут вернешься!.. А вона вже, може, с другим спарувалася... Хоть повеситься, так впору!

А за окном, под сарайчиком, так жалобно воеет бедная собака. И она тоскует по ночам: с тех пор, как заметили, что по утрам она всегда пробовала провизию, приносимую заключенным, раньше, чем они просыпались, ее на ночь стали привязывать, и вот она скучает. Жаль бедного "цуцинятка", и себя Заброде жаль...

"Хиба утикти!" — словно обухом поражает его внезапная мысль... Бежать! Отсюда, из этой тюрьмы, от бесконечной каторги. Но как бежать? Куда? Туда, на Украину, в зеленый гай, в вишневый садочек... Хоть по

ночам подходить к родной хате и бродить около вишневого садочка Горпины...

Страшная мысль все более и более овладевает душой и волей. Находит какое-то безумие... На подмогу является податливая совесть, у которой, как у Горпины, такое доброе сердце... Ведь отсюда бежать — не из полка бежать: за это не расстреливают, а если сквозь строй прогонят, то у Заброды такая спинная доска, вскормленная матушкой-Украиной, что десять тысяч шпицрутенов выдержит и заживет... Повидаться только с своими, взглянуть на Горпину, как она там с другим парубком женихается... О, не дай Бог! "Вона не женихается, вона мене выглядатиме"...

Торопливо, лихорадочно закутывает он ноги онучами, захватив при этом и ощупью найденные онучи беспечно спящего товарища; надевает казенные коты; на халат вздевает казенный серый чапан, туго подтягивается, ощупью отыскивает шапку, судорожно крестится — "Мати Божа! Мати Божа!" — и неслышными шагами выходит в сенцы, а оттуда под сарайчик.

Собака разом замолчала, угадав, кто к ней идет. Забродя, припав на корточки и тихонько отбиваясь от собаки, которая радостно лизала ему руки и лицо, зубами перегрыз веревку.

Собачья головка уже торчит у Заброды из-за пазухи. Он и ее берет с собою на Украину... "Нехай и воно, бидне цуцинятко, по воли побигає"...

— Кто там? — раздается окрик часового.

Забродя молчит, он уже на заборе.

— Стой! Кто там? Стрелять буду! — повторяется оклик.

"Не попаде москаль, — думает Забродя, — далеко дуже... и оруже погане, не попаде"... И спускается на волю...

"Раз-два-три".

Раздается выстрел, и Забродя пластом падает на землю. Вот тебе и воля, вишневый садочек, Украина... Только собака воет, да часовой глядит в красивое мертвое лицо, не смея нагнуться к чумному...

---

#### Сноски к главе

1—Это отвратительно (*нем.*)

## IV. "МОРОВОЙ МАНИФЕСТ"

В морозное январское утро 1771 года в Москве у Варварских ворот то там, то здесь народ кучится около какого-нибудь говоруна, и толкам нет конца. Через пятое-десятое слово слышится то "Моровая язва", то "Перевалка", то "На Москву идет", то "До Москвы не дойдет", то уж "Пришла на Москву".

Более всего сгущается народ, фабричные и дворовые люди, да сидельцы из Охотного, Обжорного и Голичного рядов около одного старенького, обдерганного священника, который держит в руках раскрытую книгу и корявым, посиневшим от холода пальцем тычет в одну из ее страниц...

— Вот тут оно и есть написано, — говорит он, стараясь, по-видимому, убедить краснощекого детину в старой лисьей шубе и огромнейшей меховой шапке, постоянно ссовывающейся ему на серые плутоватые глаза.

— Вот слушайте, православные, что глаголет Господь Моисею в книге Левит.

— Ну-ну, катай-катай, батька! — слышатся одобрительные возгласы из толпы.

Попик откашливается, сморкается "Адамовым платком", как он называет свою пригоршню, и дрожащим голосом читает:

— Вся дни, в няже будет на нем язва, нечисть будет, отлучен да седит, вне полка да будет ему пребывание...

— Ну, что ж ты мелешь! — перебивает его детина. — Это не про нас писано, а про солдат... Вне полка, слышь... А он на-ко что выдумал!

— А ты не перебивай! — горячится попик. — Полк, это по-нашему приход, а то и дом...

— Толкуй!

— А ты ну, читай ин! — подстрекают другие.

— Аще же рассыпая язва по ризе, или по прядене, или по кроках...

— "По ризе!" — снова возражает детина. — Да это, братцы, только про попов писано... "По ризе!" Ишь что выдумал! Али у меня риза лисья! А порки, поди, тоже риза по-твоему?

Попик нетерпеливо машет рукой на такое невежество...

— Аще же, — упрямо продолжает он, — рассыпая язва по ризе, или по прядене, или по кроках, да сожжет риза, прядения и кроки и да отлучит жрец язву на семь дней...

— Жрец! Вон куда хватил! Жрец, чу... А где ты на Москве-то жреца найдешь? — настаивал пессимист-детина.

— А ты знаешь ли, брат, что такое этот жрец самый?

— Как не знать! Только у нас на Москве жрецов не бывало...

— Ан есть жрецы! Я сам жрец, вот и поди на...

— Ишь ты, жрец какой!.. Фу-ты ну-ты! Жрец! А самому, поди, жрать, нечего...

Толпа хохочет. Попик смотрит растерянно: краснощекий детина попал не в бровь, а прямо в глаз. Попик оказывается заштатным, которых тогда по Москве толкалось видимо-невидимо.

В Москве в то время еще жив был старый обычай, начало которого восходило ко временам вечевой жизни "господина Великого Новгорода" и Пскова: все свободные, безместные и заштатные священники каждое утро, бывало, толкаются у "веча", на вечевой площади, как на рынке, и торгуют своим священством: кому подешевле акафист спеть, кому дешевенькую обеденку слитургисать, по ком за осьмину овсеца сорокоуст справить, кому за яичко молитву в шапку дать, либо за поросеночка и соборованье, и литеишку



отмахать, "гулящий поп" тут как тут. Обычай наемного священства, с утратою вечевой жизни, перешел в Москву с веча прямо на базар, на рынок, к Спасским да Варварским воротам. Настанет утро, и Москва валит на "толкун". "Толкун" — это старое вече: кто нанимает себе дровокола, кто ледокола, кто стряпку ищет, а кто "попика гулящего" на часы, на панихидку, на литургейку махоньку, на алтынную...

От таких "гулящих попиков" богомольная Москва каждое утро стоном стонала: то Голичный ряд задумает устроить "ходы с водосвятием" да с акафистцем, чтобы товарец их милостей, купчин Голичного ряда, голицы да рукавицы, шибче в ход шли да барыши несли; то Охотный ряд надумает утереть нос своим благочестием и Голичному и Обжорному ряду с Ножовою линией и затеет крестный ход на славу, и вот тут-то "гулящие попки" всегда на руку... Звон такой, бывало, идет по Москве, такое славословие да ангельское кричание велие, что голуби пугаются, вороны и галки как бешеные по небу да над Иваном Великим метутся и оглашают воздух неистовым карканьем.

Тогдашний архиепископ московский Амвросий Зертыш-Каменский, дед известного историка Бантыш-Каменского, по воспитанию и по привычкам более украинец, чем великороссиянин, человек, получивший широкое духовно-богословское образование, недоступное в то время для великорусского духовенства, вспоенный притом далеко не в древле-московском духе, который царил в Москве в XVIII веке столь же крепко, как и в XVI и как продолжает царить до некоторой степени и в XIX столетии, преосвященный Амвросий давно обратил внимание на это московское древле-вечевое, рыночно-уличное благочестие, из Охотного и Голичного ряда назойливо кричащее до самого неба, и увидел, что главные виновники этого

благочестивого гама, вечевые "гулящие попики" с их площадным литургисанием по найму.

— Это не иереи, а дервиши, — говаривал он часто, видя, как толпы народа то и дело валма валят за импровизированными крестными ходами, устраиваемыми то Ножовою линиею, то Голичным рядом для того, чтобы шибче шли в ход голицы и рукавицы, — подобает взять вервие и изгнать из храма сих торгашей благодати.

— Не ломайте старины, владыка, — предупреждал его протоиерей Левшинов, человек замечательно умный, но вполне знакомый с московским складом ума и с московским мировоззрением, — сила Охотного ряда, ваше высокопреосвященство, великая сила в России. Российское государство само есть подобие Охотного ряда...

— А я, отец Александр, сломаю выю Охотному ряду, — настойчиво твердил владыка, — это не крестные ходы, а кулачные бои.

Но Охотный ряд оказался сильнее, он сломал выю преосвященному Амвросию... Но об этом в своем месте.

Как бы то ни было, Амвросий преследовал заштатных "гулящих попов". Вот почему замечание краснощекого детины (он был сидельцем в Голичном ряду) было очень жестоким бичом для попика, читающего книгу Левит: он действительно с голоду искал себе работки у Варварских ворот, где всегда толкались благочестивые.

Чума для этого голодного попика-поденщика была находкою, она должна была кормить его: народ, из страха смерти, будет непременно толкаться по церквам, площадям и у всяких ворот и искать себе дешевого душеспасителя... Церковные попы дорого берут за все, не жалеют православных, а "гулящий попик" и за алтын спасет душу.

Для краснощекого же детины из Голичного ряда чума была нежеланная гостья, как и для всеторговых

людей.

— Вон хозяин сказывал, что коли-де запрут Москву этими проклятыми карантеями, дак тады и носу не показывай с голичным да кожевенным товаром: через заставу не пустят. А мы уж было наладили партию голиц да рукавиц на весь Питер, — пояснил он ближайшим соседям. — А то на! Язва, слышь, да жрец, а товар лежи...

В это время сквозь толпу протискивался человек невзрачной наружности, в ветхом кафтанишке приказного, с сизым, как лиссабонский виноград, носом и весь посиневший от холоду.

— Православные! Прислушайте! — кричал он, проталкиваясь в середине.

— Фролка, приказная строка! — оповещали голоса.

— Православные! Что я принес!

— Фролка, крапивное семя! — кричали другие.

— Фролка, чернильная душа! За гусиное перо отца продал, гусиным пером всю воду из Москвы-реки вымокал, — издевается детина из Голичного ряда.

Но Фролка не унывает: он сам хорошо знает свою популярность и принимает возгласы толпы, как должную дань народного внимания.

В то время гласность была не в большом ходу, телеграмм не существовало, и их заменяли рыночные слухи.

Фролка — чернильная душа служил помощником подкopiиста в сенате и потому узнавал некоторые новости раньше других и сообщал их своим "благодетелям" из Охотного и иных рядов, за что и получал то фунтик осетринки с душком, то поросеночка с запашком...

Протолкавшись в середину, на самую трибуну, он вытащил из-за пазухи лист бумаги и, развертывая его дрожащими "от невоздержания" руками, говорил торопливо и таинственно:

— Внемлите, православные! Всемиловитивейший манифест об ей самой принес я вам... Манифест...

Все вытянулись, недоумевая, о ком речь...

— Вот тут сама матушка, всемиловитивейшая государыня, пишет об ей.

— Да о ком? — огрызается детина из Голичного ряда, догадываясь, в чем дело. — Об твоей чернильной душе, что ли?

— Нету, Спирия, об ей, об моровой язве...

— Что ты врешь, строка эдакая! И дадут тебе экую бумагу-то в пьяные лапы...

— Сам, Спирюшка, взял отай... Их много из Питера наслали, гору наслали, вот!

— А ты читай вслух! — заволновалась толпа, — не связывайся с им.

— С ним не спорь, у него голицы на уме.

"Гулящий попик", пораженный было детиною из Голичного ряда, теперь оправился, вырос... Значит, он прав: она будет на Москве... Может быть, уже пришла... Будет корм у "гулящего попика", она накормит.

— Ну, ин с Богом чти! — понукал он Фролку. — Во имя Отца...

— Слушай, православные! Долой шапки!

Головы обнажились. Толпа присмирела. Слышно было только трение и шарканье зипунов друг о друга да воркованье голубей наверху ворот, за старой иконой Боголюбской Богородицы. Приказный откашлялся и начал:

— "Божиею милостию мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем чрез сие во всенародное известие".

Фролка остановился, чтобы, по-видимому, перевести дух, но больше для того, чтобы видеть, какой эффект производит на толпу его чтение. Фролка был когда-то не то, чем он стал теперь. Лирик в душе, мягкий по

природе, с искрой дарования, он залил эту искру сначала слезами, а потом... водкой... Ему не повезло в жизни потому, что жизнь его началась не с фундамента, а с воздуха — он не получил никакого образования... Фролка пропал — шар земной весь вымощен подобными Фролками, которые были бы гордостью этой земли, если бы не... да что об этом толковать! У Фролки когда-то и честолюбие было — теперь оно на дне косушки сидит... У Фролки были замашки народного трибуна, он любил, чтобы его слушали... И его слушают теперь, во царевом кабаке, где и бьют притом...

— "Война, — продолжал он торжественно, — столь несправедно и вероломно со стороны Порты оттоманской постороннею завистию, коварством и происками против империи нашей возженная, коея конец да увенчает скорым, прочным и славным миром десница Всевышнего, толь явно оружие нашему донине поборствующая, влечет за собой, по свойственному туркам зверскому и закоренелому о собственной своей целостности небрежению, опасность заразной моровой язвы, в рассуждении соседственных областей и тех граждан, кои по долгу звания своего и из любви к отечеству ополчаются противу их в военном подвиге".

Чтец особенно ударил на слова "опасность заразной моровой язвы". Он чувствовал, что многие вздрогнули от этих слов. Да и было от чего вздрогнуть! Но ни слова, ни звука кругом; только когда на карнизе Варварских ворот сильно задрались голуби, из толпы поднялся кулак и погрозил глупой, некстати расшумевшейся птице. Все жадно ждали, что будет дальше...

— "Но таким образом исполняя с нашей стороны во всем пространстве долг царского и матерьяго простережения, к полному успокоению наших верных подданных, дабы каждый из оных беспечно мог

оставаться при своем домостроительстве и промысле, взаимно требуем и желаем мы, чтобы и они все и каждый из них, по состоянию чина и звания своего, воспособствовали оному всеми своими силами и всем от них зависящим по обязательствам должной и присяжной вам и отечеству верности"...

Кругом мертвое молчание. Тяжело дышат напряженные груди слушателей. Где-то баба всхлипывает... И у чтеца на глазах слезы... в глазах светится что-то человеческое... прежнее, чистое...

Но пьяный голос крепнет: "Опытами известно, что заразительные болезни могут весьма легко и неприметно перенесены быть через платье и к тому служащие всякие шелковые, бумажные, шерстяные вещи и уборы"...

— Что, слышал! — не без яду шепчет "гуляющий попик" врагу своему, детине из Голичного ряда.

— Молчи, мухов объедок!

— ..."а особливо когда оные из зараженных мест без выветривания и вседневного между рук человеческих употребления провозятся свернутыми и увязанными со времени получения в свои руки (продолжается чтение). Мы потому, в удовлетворение нужной осторожности до последних ее пределов, именно и точно сим манифестом повелеваем всем нашим верным подданным без всякого изъятия, как знатным, так и разночинцам, какого бы кто состояния, звания и промысла ни был, а особливо едущим в Россию от войск наших, вне границ в военных действиях обращающихся, дабы отнюдь никто не привозил с собою, ниже подчиненным своим позволял в сундуках, баулах, связках и возах спрятанными всякие от неприятеля в добычу полученные или же в землях его и зараженных в Польше, за деньги купленные вещи шелковые, бумажные, шерстяные, нитяные, железные, медные, кожаные и другие тому подобные, кои в одежды и

убранство у турков или в других зараженных местах употреблены были, а по крайней мере за употребленные признаны быть могут; и дабы еще отнюдь никто не въезжал в границы мимо городов и учрежденных по отверстым большим дорогам застав и карантенных домов: ибо в противном случае не только везомое при первой заставе и внутри империи огню предано, но и виноватый в том за оскорбителя божиих и государственных законов почтен и как таковой примерно наказан будет. С другой стороны сим же поручаем мы сенату нашему независимо от предписанных уже правил и наставлений, определенным повсюду кордонным, карантенным и по другим заставам командирам, как им вообще поступать в пропуске людей и вещей, распорядить и такие меры, чтобы под предлогом исполнения по точной силе сего нашего манифеста не могло где произрасти злоупотребления, напрасных прицепок и утеснений проезжающих"...

Между тем толпа слушателей росла. Отдельные вдали толкавшиеся кучи, влекомые как бы инстинктом, примыкали к средней толпе, напирала сзади, жали и теснили передних. Начинался глухой шум в задних рядах. Всем хотелось узнать, в чем дело, и вставала сумятица, разноголосица толков, вопросов, торопливых и наивных, и ответов, еще более наивных...

— Али набор, паря, вычитывают?

— Набор... турка, слышь, идет на Москву на самую, мор несет...

— Что ты?!

— Пра... Голицы, чу, нельзя носить, в голицу, чу, турка язву посадил...

— Жрецы на нас идут, сказывали, касатики, — убивается баба, страшные такие, в ризах, голицы на руках, сама слышала...

— Жрецы?! Каки жрецы? Где?

— В Голичном, слышь, ряду... жрец на жреце!

— Батюшки-светы! Что ж это будет!

Гвалт усиливался, мешал слушать читаемое. Задние ряды напирали, передние сжимали чтеца, он весь посинел от натуги.

— Легче, православные! Не дави! Ой!

— Вычитывай до конца! Режь, коли начал! Ой! Легче!

— Задавили!.. Батюшки, задавили!..

— Подымай Фролку на плечи! Катай! Вычитывай, выматывай душу до конца!

Фролка на плечах у толпы, завидная участь оратора! Он выкрикивает всей глоткой, всеми нутрами:

— "Впрочем, как все намерение сего нашего повеления идет единственно к пользе и обеспечению империи, то и уверяемся мы, что никто из находящихся в службе или же для промысла своего при армиях наших и в Польше не захочет из побуждения подлой корысти сделаться предателем отечества, но что паче все и каждый будут как истинные граждане усердно стараться и за другими, а наипаче за подчиненными своими под собственным за них ответом строжайше наблюдать, дабы кто и если не из лакомства, по меньшей мере из простоты и невежества преступником, а, сохрани от того Боже, и виновником общего злоключения учиниться не мог. Вследствие сего и повелеваем мы сей наш манифест во всей империи надлежащим образом немедленно обнародовать. Дан..."

Толпа шарахнулась в сторону, и Фролка полетел вниз головой с своей живой кафедры.

— ...дан! Ой, разбойники! Православные!

— Батюшки! Казаки бьют!

— А! Лови паршивых лапотников!.. Нагайками их!.. Скопы на улице! А!

— Народ бунтуют! Кто бунтует?..

— Фролка приказный. Моровой манифест вычитывал,  
— доносит детина из Голичного ряда.



— Ай-ай-ай! Беременну бабу задавили... Ох!

— Жрецы!.. Матыньки мои, жрецы!

Фролка стоял, покинутый народом. Такое торжество всенародное и такой позор! Он, Фролка, — "бунтовщик!..". "Господи! О! Просвети ты их..."

Фролка безутешно плакал.

## V. ЛОКОН МЕРТВЕЦА

Манифест о чуме подписан был императрицею 31 декабря, в последние моменты отходившего в вечность 1770 года.

Вечером этого дня государыня лихорадочно торопила князя Вяземского: ей казалось, что манифест слишком медленно переписывают набело с чернового отпуска, лично исправленного Екатериною. Ей хотелось до нового года подписать эту роковую бумагу, свалить с сердца этот камень вместе с умирающим старым годом... Она постоянно звонила, ожидая этой бумаги... Наконец, Вяземский принес манифест! Императрица еще раз внимательно прочитала его с пером в руке, перевернула страницу назад и задумалась. Она остановилась над одной фразой...

И князь Вяземский, и граф Григорий Орлов, стоя почтительно у стола, молча ждали. Императрица задумчиво поправила кружевцо на пухлой кисти левой руки, слегка ударила по бумаге и опять задумалась над фразой.

— "Учинит достаточными..." Гм... — сказала она как бы про себя. — А точно ли они достаточны? А?

И императрица перевела свои вопросительные и задумчивые глаза на Орлова и Вяземского.

— В чем изволите сомневаться, ваше величество? — спросил последний нерешительно.

— Вот тут мы говорим (и императрица провела пальцем по занимающей ее фразе манифеста): "Мы с несумненною верою ожидаем затем от благости всещедрого Бога, что Он сии наши учреждения учинит достаточными и отвратит от нашего отечества бич гнева Своего..." Как они всегда крупно пишут м ы, н а ш и, крупнее в с е щ е д р а г о Б о г а (добавила она

вскользь)... — А достаточны ли, полно, сии наши учреждения?

— Мы уповаем, государыня, что всемогущий Бог учинит их достаточными, — смело отвечал Орлов.

— О! Вы все, Орловы, бойки, — улыбнулась императрица.

— На словах, ваше императорское величество? — как-то странно спросил Орлов.

— Нет, я этого не сказала, граф, и не думаю: Орловы доказали неоднократно, что они бойки на деле... Вон и теперь, давно ли граф Алексей Григорьевич возвеселил всю Европу чесменским фейерверком? А я думаю вот об этой, как ее величать не ведаю, "Перевалка" ли, "Язва" ли, "Чума" ли... Сожжем мы и ее, как сожгли турецкий флот? Не придется ли и против нее послать Орловых?

— Как будет угодно вашему величеству!

— А уверены ли вы в расторопности тех лиц, коим вверено сие дело ныне?

— Я их всех знаю, государыня, да некоторых и вы изволите помнить: нашу китайскую карантенную стену ограждают с командами генералы Шипов, Воейков и Щербинин, князь Мещерский — со стороны Польши и Малороссии, а Москва и Петербург, как изволите знать, ограждены от язвы двойными смолеными рубашками и изрядным количеством чесноку...

Государыня засмеялась и, взглянув на Вяземского, который еще ни разу не улыбнулся, сказала весело: — Четыре поименованные генерала напоминают мне письмо Вольтера: он пишет, что уксус, называемый "четырёх разбойников", самое есть действительное средство от заразы. Как вы думаете, князь, похожи наши генералы на этот уксус?

— Похожи, ваше величество, только на разбавленный водою, — отвечал Вяземский, не улыбаясь.

— То есть как?

— Слаб оказался наш уксус, государыня... Чеснок понадобился...

— Вы разумеете вторую карантенную линию за Москву?

— Так точно, ваше величество.

Императрица опять задумалась и опять машинально поправила кружевцо рукава...

— Крупно, крупно пишут. Меня крупнее Бога на бумаге ставят, — как бы про себя говорила она. — Его одною заглавною буквою, а меня всеми литерами...

— Для черни сие делается, ваше величество, для подлого народа, подсказал Вяземский.

— Попа знают и в рогоже... А какие офицеры охраняют вторую карантенную линию? — обратилась императрица к Орлову.

— В Боровске — Булгаков, ваше величество, в Серпухове — Свечин, в Калуге — Ергольский, в Алексине — Сенденгорс, в Кашире — Толстой, в Коломне — Хомутов...

— Шесть изрядных головок чесноку, — снова улыбнулась императрица. — А московский главный начальник граф Петр Семенович, смоленая рубашка?

— Смоленый сарафан, ваше величество, — отвечал Орлов.

— Да, почти саван... стар уж он... кашкой пора кормить...

Императрица опять перенесла глаза на манифест, перевернула его и, перекрестясь, обмакнула перо в чернильницу, крупно вывела "Екатерина" и подала бумагу Вяземскому. И Вяземский, и Орлов тоже перекрестились набожно... Каждый думал о том, что-то принесет новый 1771 год...

— Это последняя дань старому году, — сказала Екатерина, — он принес моровую язву, она с ним и умрет, если Бог благословит наши начинания. Указ же сената и наставления о мерах предосторожности от

заразы я прочту послезавтра. Я ожидаю мер действительных.

Меры, точно, казались действительными. Через несколько дней императрица имела удовольствие читать указ сената об этих "мерах". В этом императорском указе всенародно объявлялось, что "хотя принятые противу заразительной болезни меры и осторожности, а паче твердое упование на милость Божию подают несумненную надежду, что сия опасность, начиная везде пресекаться, вскоре совершенно утушена и истреблена будет, но как при всем том благоразумие требует, чтоб, предохранив лифляндские рубежи и прочие к Польше прилежащие губернии от зараженных тою опасною болезнью польских мест, не оставлять в то ж время и всей предосторожности и радения неусыпного к тому, дабы, от чего Боже сохрани, оное зло не внеслось каким-либо образом в недра самые России и ее столичных городов", то правительствующий сенат "за нужно рассудил": "По всей польской границе, где есть только заставы, а нет ни карантинных, ни лекарей, поставить от каждой губернии по две таможни и устроить карантинные дома, а все прочие проезды и заставы закрыть.

Никто из проезжающих из сомнительных мест не должен следовать по проселочным дорогам, а непременно все должны направляться на одну из карантинных застав, расположенных непрерывною цепью в городах: Серпухове, Коломне, Кашире, Боровске, Алексине, Калуге, Малом Ярославце, Можайске, Крапивне, Лихвине, Дорогобуже и на пристани в Гжацке.

Для пресечения потаенных поездов и провоза товаров не только от заставы к заставе, по всей карантинной линии, делать частные разъезды, но дозволить жителям тех мест ловить таких проезжающих и доносить. И если кто пойман будет, а

товар у него не сумнительный, то доносителю давать из того награждение, а сумнительный жечь и с преступниками поступать по законам, давая в сем последнем случае доносителю пристойное награждение из казны.

— Так мы доносчиков у себя, пожалуй, разведем, — заметила императрица при чтении этого пункта.

— На доносителях, ваше величество, государство держится, — отвечал Вяземский.

— Это говорит генерал-прокурор, а не человек, — улыбнулась Екатерина.

— Гражданин, ваше величество, и верноподданный.

— Так... но доносы не должны существовать... не должны бы...

— Зато, государыня, с доносителями у нас птица через кордон не пролетит.

— Дай Бог... Но я разумею тайные доносы... Для общего блага доносы должны быть явные и имена доносителей следовало бы публиковать во всеобщее сведение.

— Тогда, ваше величество, доносителей не будет.

— Зато останутся честные граждане...

Вяземский спрятал свои хитрые глаза и ничего не отвечал. В глазах императрицы тоже блеснул какой-то свет, если можно так выразиться, двойной, как гарнитуровая материя, и тотчас же потух...

Как бы то ни было, императрица одобрила проект указа сената.

— А наставление готово? — спросила она, немного помолчав.

— Готово, ваше величество, — отвечал Вяземский. — Угодно будет самим прочесть?

— Нет, я послушаю.

Вяземский взял следующую за указом бумагу и стал читать:

— "В местах, где находится моровая язва, не надобно дозволять иметь сообщение жителям одного города с жителями другого, ниже в города ходить деревенским обывателям ниже городским жителям удаляться в деревни. Для сего ставят городской караул при всех проходах в город, учреждают при одних воротах рынок. На сем рынке городские жители от сельских разделены двойной преградою"...

— Помню, помню, — перебила чтение Екатерина, — я черничок пробегала... Товары проносятся чрез огонь, окуриваются, моются в уксусе, а деньги опускаются в чан... Помню...

Вяземский молча перелистывал бумагу и ждал.

Неслышными шагами в кабинет вошел Григорий Орлов.

— Что нового? — спросила императрица с тем же двойным светом в глазах, который очень был знаком Орлову.

— Я получил письмо от брата Алексея, ваше величество.

— И я получила... А кстати, князь Александр Алексеич, — обратилась она к Вяземскому, продолжавшему перелистывать бумаги молча и искоса поглядывавшему на Орлова, — что в наставлении сказано о письмах, получаемых из зараженных областей? Это для нас, бумажных людей, наиважнейшая статья.

Вяземский нашел это место и начал читать:

"В рассуждении писем, приходящих из зараженных мест, надобно иметь великое внимание для многих причин. А притом во всем свете бумагу почитают за вещь самую способнейшую к принятию заразы, и посему можно уже чувствовать, что не довольно употребляемой ныне предосторожности, обливая в уксусе только поверхность обверток писем и оставляя без всего внутренность оных, где буде есть зараза,

остается скрытою. И так, что касается до писем, приходящих из зараженных мест, то с оными поступать должно таким образом: особа, определенная к распечатыванию такового пакета, должна надеть перчатки, сделанные из вощанки, и иметь маленькие железные щипцы, ножницами разрезывает и раздирает железными щипцами обертку, которую и сжигает, распечатывает письма и окуривает в густом дыму. Надобно примечать, что стол, на котором все сие происходит, должен быть мраморный или деревянный без покрышки. Ежели в письмах сыщется тетрадь, сшитая ниткою или связанная лентою, то надобно такую нитку или ленту разрезать ножницами и сжечь так равно, как и все вещи, какого бы они качества не были, кои будут в письмах, к частным людям писанных"...

— К частным людям... так... а к казенным и к нам?.. Да это особо, говорила как бы про себя императрица.

— Это особо, ваше величество, — повторил докладчик. — Далее говорится о том, чтобы носить на груди кусок камфоры в кожаном мешочке...

— Помню, читала...

— А потом, что лекари должны прикасаться к пульсу больного сквозь развернутый лист табаку и тотчас бросить этот лист.

— Так... и это помню... Будем надеяться, что Бог оградит нас... Я так и Вольтеру писала, который опасается за мое спокойствие и безопасность: я говорю, что у меня есть уксус не только "четырех разбойников", но "сорока сороков разбойников"...

— Это в Москве-то, ваше величество, граф Салтыков?  
— лукаво спросил Орлов.

— Нет, есть помоложе... Я за Москву не боюсь... Она богомольная старушка, хоть и не опрятная.

\* \* \*



А чума между тем уже ходит по Москве, но только никто ее не видит, а если бы и увидал, то не поверил бы, что это чума, что тут именно, в этом миловидном существе с черненькими глазками и бровками, напоминающими что-то цыганское, с вздернутым кверху, несколько курносеньким, курносеньким подетски, носиком, что в этой живенькой, трепетной, как брошенная на стекло горсть ртути, фигурке, источник ужасов и страданий. Чума — эта безобразная смерть десятков тысяч народу, приютилась в Москве на груди девушки лет семнадцати-восемнадцати, сидит под ее лифом, оправленная в золото и финифть, прикрытая святым ликом Спасителя...

Вон недалеко от церкви Николы, "что словоет в Кобыльском", в переулочек выглядывает чистенький домик с зелеными ставнями, уже закрытыми на ночь, а на мезонине в крайнем окошке светится огонек. Войдем туда, нам везде можно входить, как всюду входит и темная ночь со своими тенями и сонными грезами, как всюду приходит и светлый день своими неслышными шагами...

Мы входим в скромную спальню молодой девушки. Справа у стены белеется небольшая постелька: она еще не смята, не помяты ни подушки в белых наволочках, ни белая простыня, свесившаяся до полу, и только отогнут один край байкового одеяла, вероятно, той заботливой рукой, которая стлала на ночь эту девическую постель.

У другой стены стоит ломберный стол, покрытый филейною скатертью и прислоненный к нижней раме небольшого зеркала в темной старинной оправе с тонкою медною каймой. Тут же брошены шпильки и гребень, которым незадолго пред этим, как видно, девушка расчесывала свою черную косу, спадающую ровною сетью на смугловатые, круглые плечи и на белую ночную сорочку. У зеркала стоят две свечи, расположенные так, что, при помощи другого зеркала

отражаясь на поверхности первого, они как бы тянутся бесконечным рядом огоньков в далекую темную глубину, едва-едва освещаемую этими светлыми отраженными точками.

Девушка сидит неподвижно, положив руки на стол, и пристально вглядывается в глубокую даль зеркала, отражающего бесконечную аллею свечей и какую-то неведомую, таинственную темень.

Девушка гадает... На дворе святки стоят.

О чем же гадать молодой девушке, как не о своем суженом? А суженый ее далеко-далеко... Вот уж другой год, как он в походе, где-то у Дуная, воюет с турками... Из-под Кагула писал он, что жив и здоров, впредь уповаает на Бога, сражался с турками три раза, видел смерть в очи и не получил ни одной царапины: а в последнюю ночь ходил с казаками добывать языка под Кагулом и добыл. Еще шутит в письме, пишет, что его поцеловала кагульская красавица Мариула и сказала, что он никогда не забудет ее поцелуя. А в конце письма прибавил, такой милый шутник! что цыганка эта, Мариула, седая и страшная старуха, которую казаки и зарубили... Ух, как страшно, должно быть... А он, суженый, пишет, что целует Ларисины ручки пухленькие с красными ноготочками, каждый пальчик и ладонки Ларисины целует... Так и горят ладони от этих слов! А с тех пор не писал. Да может быть потому, что там везде стоят карантинны от этой моровой язвы и письма пропускают оттуда с трудом. И последнее письмо было все истыкано чем-то и пахло не то уксусом, не то камфорой...

На улице шумят "святошники", ряженые, ходят до поздней ночи: хохот, песни, им весело...

Как у месяца золотые рога  
Таусень!

И Ларисе скоро будет весело... Скоро придет няня и скажет, что он к Крещению приедет, а до Сретенья можно будет и свадьбу сыграть. Жарко становится... Горит лицо, глаза горят ожиданием и счастьем, теперь счастье берется взаймы, а там отдастся долг... Даже уши горят. А грудь-то, грудь как колотится под сорочкой... подожди, не колотись даром, не на его груди... А сердце-то замирает. Господи! Сколько счастья у человека, непочатый край счастья, пока он... не знает...

Девушка прислушивается. Кто-то тихонько поднимается по деревянной лестнице в мезонин, к комнате гадающей невесты. Невеста узнает знакомые шаги старой няни. Это Пахомовна идет, "Пахонина", как ее Лариса называла маленькою. Пахонина несет радостную весточку! Она видела глаза тех, которые еще недавно смотрели в ясные голубые глаза его, Саши, в глаза суженого, которого и конем не объедешь, зачем объезжать! И девушка сейчас-сейчас, вот сию минуту увидит глаза самого суженого, Саши ненаглядного...

Но как она долго копается там на лестнице, старая! Не знает, что ее тут дрожмя ждут, всю душеньку расхлебенили, ждут не дождутся... А она там, старая, шаркает своими старыми ногами, шамкает, охает... За ручку двери берется... Вот она, наконец!.. Но что с ней? Она на ногах не стоит... Пьяная, что ли?

— Ох! Гадает голубушка... об ём...

— Нянюшка! Что ж ты!.. Была?

— Ох!.. Была.

— Что ж, видела?

— Ох, ластушка моя...

— Да что с тобой?

Девушка вскакивает и подбегает к старухе, отстраняя руками растрепавшиеся косы... На старухе

лица нет, глаза заплаканы, подбородок трясется, руки к чему-то судорожно прижимаются на груди...

— Что ты, нянюшка. Бог с тобой! Больна, что ли? Устала?

— Ох, ластушка барышня... и сказать-то не умею... и речей у меня никаких нет...

И старуха со слезами припала к похолодевшим рукам своей вскормленницы...

Тут только девушка почувствовала, что ее ожгло что-то, и огнем, и льдом ожгло... Кусок льду к сердцу подкатился... Из-за зеркала вышла темень и упала завесой перед глазами, потемнело в глазах, а из души искры брызнули, осветили что-то страшное, неведомое, невыговариваемое словом...

— Говори!.. Ох, говори!

— Матушка-барышня, не вымолвлю... отсохни язык...

— Убили его, в полон взяли?

Говоря это, девушка машинально опустилась на колени, как бы умоляя о пощаде... Старуха дрожащими руками вынула из-за пазухи образок-медальон...

— Вон... прислал, голубчик... волоски тут...

Девушка, схватив образок, видимо, не понимала, что же такое делается вокруг... Старуха качалась на месте, словно бы безмолвно причитая по ком. Девушка все поняла.

— Не в полону... не убили... сам прислал... Так умер?

— Преставился.

Девушка ничего больше не сказала. Она, шатаясь, подошла к столу, на котором за минуту перед тем гадала о своем суженом и даже видела его, тихо опустилась на стул, бессмысленно глядя на медальон, и молчала.

— Волоски-то какие... шелковые... целая прядочка, — шептала старуха, по-прежнему качая головой.

Девушка спокойно открыла медальон, — спокойно! — тихое спокойствие бывает или перед безумием, или

перед смертью... Она знала, как открывать финифтяную крышечку. Открыла... увидала...

— И ленточкой синенькой перевиты волоски, — продолжала терзать старуха.

Да, под финифтью лежала прядь волос, свитая кольцом и перехваченная голубой ленточкой... длинные белокурые волосы, словно от девичьей косы... А старуха причитала: — Я всю дорогу целовала их, плачучи... Голубчик мой! Как и кстили его, я мамкой была, так и тогда, как поп в купель волоски-то его с вощечком бросил, я выняла их, спрятала. Беленьки, как вот и эти... А твои-то, сердешная моя, волоски черненьки... Я и тебя кормила, от их отошла тогда к вам... три годочка тогда ему было, как тебя-то кстили... Я и твои волоски в ту пору спрятала, вместе лежат у меня. Думала я тогда, глупая, что невесту ему, бедному, вскормлю. Вот и вскормила на горе, на слезы горькие. Обеих-то я вас, горемычная, вскормила, да только счастья-доли у Бога не вымолила...

Девушка, наконец, зарыдала, упав головой на стол.

— Плачь, дитяtko, плачь, бедное... Слезы льются — горько, а не льются — горше того... Выкатится слеза, высохнет, а не выкатится, камнем на сердце падет.

И девушка плакала, выкатывала слезы-камни, которые к сердцу приваливали: "О! зачем я родилась! Зачем не умерла раньше его!"

Из боковой двери, ведущей в соседнюю комнату мезонина, выглянуло испуганное лицо юноши, почти мальчика. Это был брат девушки, который спал в другой комнате.

— Что случилось, нянюшка? Об чем сестра плачет?

— Ох, горе у нас, батюшка-барин... И-и-хи-хи какое горе!

— Да что же такое? Говори... Лара! Что случилось?

Девушка еще горше заплакала, вздрагивая всем телом и не поднимая головы от стола. Юноша

растерялся.

— Да что же, разве в доме что случилось?

— Нет, батюшка... Александр Андреич помер.

— Как? Где? Когда?

— Там, батюшка, на войне... Приехал оттуда Грачевский, молодой барин, вести эти горькие привез, да и волоски от его на память мертвые отрезал.

— А чем он умер?

— Да вот этой самой, сказывают, хворобой, что и в Киеве летось люди мерли.

— Моровой язвой? Что ты?

— Моровой, батюшка, моровой, точно... Солдатик ихний сказывал.

— И это волосы от мертвого? — с ужасом спросил юноша.

— Точно, батюшка, от покойничка.

Юноша взглянул на стол и, увидев раскрытый медальон с прядью волос, лежавший недалеко от головы девушки, которая судорожно плакала, бросился к сестре, схватил ее за голову и силою поднял от стола.

— Лара! Ларочка!.. И ты трогала эти волосы? — спрашивал он задыхающимся голосом.

Девушка упала было ему на грудь своей бедной головой, но юноша с ужасом отскочил от нее...

— Она трогала волосы? Говори, нянька! — отчаянно допрашивал он.

— Нету... нету, батюшка, барышня не трогала их... Я только их целовала всю дороженьку.

— Да ты с ума сошла! Ты нас всех погубишь!

— Чем же, батюшка, барин, я вас погублю? — наивно спрашивала старуха.

— Да ты заразилась уж...

— Что ты, барин, пустое говоришь! От мертвых-то волосиков... Да и скончался-то он, батюшка, еще летось, за тридевять земель. Отчего тут заразе быть?

Юноша отчаянно махнул рукой и подошел к сестре.

— Ларочка! Няня говорит, что ты не дотрагивалась до этих волос (и он со страхом указал на медальон)... Ради Бога, заклинаю тебя! Не прикасайся к ним... Дай я их тотчас же сожгу...

Эти слова заставили опомниться девушку.

Она схватила брата за руку.

— Нет! Нет! Не трогай их. Я хочу с ними в гроб лечь.

— Да в них зараза, смерть!

— Смерть... О! А зачем мне жизнь?

— Глупости, Ларочка! Да если и хочется тебе умереть, так зачем же нас всех со свету гнать? А ведь от тебя мы заразимся все. Нам Шафонский читал об этой болезни. Это такая проклятая зараза, что она пристаёт к здоровому не только от больного, когда к нему дотронутся, но от его и платья и от всех вещей, которые у него были. Оттого после умершего всю одежду сожигают, а золотые и серебряные вещи или моют в растворе таком особом... либо окуривают особым порошком. Дай же, Ларочка, я хоть окурю эту мерзость, у меня есть порошок. А к няньке ты не смей и дотрагиваться... Потом, обратясь к старухе, юноша сердито сказал: — А ты, старая дура, убирайся сию же минуту из нашего дома. Вон! Чтоб и нога твоя не была тут, пока не пройдет месяца два и пока тебя не продержат в опасной больнице... Уходи сейчас же, а то я кочергой вытолкаю и кочергу в огонь брошу... Уходи прочь, прочь!

— Уйду... Уйду, батюшка, — обидчиво сказала старуха, утирая слезы. Вот за всю-то мою службу награда, словно собаку бешеную гонят. Уйду... Прощай, барышня-голубушка!

Девушка ничего не слыхала. Она, припав головой к столу, тихо плакала. А за окном, на улице выкрикивали женские голоса:

Что у месяца рога...

Та-а-а-авсень... Та-а-а-усень.

Москва не предчувствовала еще ничего.



## VI. "ЧУМА ПО МОСКВЕ ХОДИТ"

Спит Москва богатырским сном, не знает, не видит, что в ней творится. Не видят люди — так видят птицы...

Вон на Пречистенке, у церкви священномученика Власия, раным-ранехонько, вокруг чего-то распростертого среди улицы попрыгивают голодные воробышки, чирикают с холоду и напрасно ищут на промерзлой земле какого-нибудь зерна, оброненного человеком... Но скуп человек, не роняет ни одного зерна даром, хоть и тратит миллионы и тьмами тем... Ничего не остается маленькому воробышку.

А это что-то большое, распростертое на земле, лежит, не двигается. Должно быть, пьяный человек, кому же другому придет в голову лежать посреди улицы на мерзлой земле в такую раннюю пору?

Да, человек. Московским воробьям это очень хорошо ведомо. Вон на масленицу сколько, бывало, пьяных валяется по улицам, и никто их не убирает, потому широкая масленица...

И воробьи попрыгивают около пьяного, боясь, однако, близко подойти к нему. А как проснется да схватит? Нет, надо осторожнее к нему подбираться.

Вон и ворона с крыши священномученика Власия зорко глядит на это что-то распростертое на земле. У вороны зрение лучше воробьиного, должно быть, а и то сказать: ворона птица наметанная, понаметаннее воробья. Она мастер распознавать пьяного человека от мертвого. Не так лежит это что-то, распростертое на земле, чтобы признать его за пьяницу; не так смотрят в морозное небо открытые, остекленные глаза; не живым смотрит это синее, с багрово-черными пятнами лицо, безмолвно посылающее к безответному небу свою мертвую укоризну; не шевелятся от дыхания

заиндедеввшие на усах, на бороде и на открытой голове, поседевшие морозною сединою волосы...

Да, не пьяный это человек мертвецки спит, а мертвый спит сном вечным.

Ворона слетает с крыши и садится около этого "чего-то", распростертого на земле. Воробьи с испугом отскакивают от большой черной птицы: для маленького воробья и ворона кажется чудовищем, великаном, все на свете относительно.

Ворона осторожно и пытливо попрыгивает около этого "чего-то", распростертого на земле. Воробьи тоже робко, один за другим, подсакивают к занимающему их предмету, а там все смелее и смелее, — и вот уже подергивают своими маленькими носиками лежащего на земле человека то за полукафтан, то за рукава... И ворона становится смелее: она вскакивает на грудь мертвому и заглядывает ему в остеклелые глаза. У! Как любопытно и страшно! Для птицы, как и для всякого животного, нет ничего страшнее человеческих глаз — страшны они иногда и для самого человека — ух, как страшны!

И вороне страшно этих глаз — хоть и мертвые они, но все же смотрят... Надо заставить, чтоб они не смотрели, надо их выклевать. Оттого птицы раньше всего выклевают у мертвецов очи — так и орлы- "сизокрыльцы" у казаков прежде всего "очи из лба выдирали".

И ворона робко пробирается по груди человека к его лицу, к его страшным, обращенным к небу глазам. Вот она уж у самого лица... ноги ее путаются в заиндедеввшей бороде...

И ворона разом долбанула в мертвый, замерзший глаз и тотчас же слетела с трупа. Рассыпались и воробьи: страшно, у вороны такие большие крылья! Ворона опять на груди мертвеца. С груди

перескакивает на голову, на лоб... Опять долбанула, раз-два-три... долбит усердно, жадно...

Из переулка выбегает собака и, увидав лежащего человека, останавливается в нерешительности. Ворона улетает на крышу, воробьи отскакивают далеко... Собака начинает лаять нерешительным лаем, громче, решительнее, тот не шевелится... Собака начинает обходить "пьяного" кругами... А если вдруг проснется да камнем или комом мерзлого снегу хватит? Собака трусит...

Из-за угла показывается старуха с корзинкой. Старость плохо спит, не спалось ночь и этой старухе. И вот она ни свет ни заря плетется на рынок, хоть на рынке еще и собаки-то редкие проснулись после ночного служебного лаянья на воздух да на луну.

Видит старуха, лежит человек на улице... Пьяный, должно полагать. Кому же другому быть, как не горькому пьянице?

— О-о-хо-хо! Грехи-то какие! — печалуется старуха. — Для великого-то поста эдакое-то дело. Владычица-матушка!

Останавливается старуха и укоризненно качает головой. Что качаешь! На свою могилу качаешь... Собака около старухи увивается.

— Да уж не замерз ли пьяненькой-то, матушки мои! — пугается старуха. — Лежит, не шелохнется.

Подходит старуха, всматривается, и собака подбегает, лает смело, решительно.

— Так и есть, замерз. Ох, матушки!

Еще бредет старуха. А там старик, бабьим платком повязанный, костыляет... Нету сна жалкой старости, гуляет сон с молодыми, а старость мается, не спит, охает, бродит, свою жизнь молодую вспоминая да в свою могилу заглядывая.

Собирается старость около мертвого. А он лежит без шапки, в распахнутом кафтане, без сапог, в одних

шерстяных вязанках. Подходит ближе...

— Да, никак, это Кузьма Ивлич, спаси Господи! — пугливо говорит первая старуха. — Да он человек непьющий... Матушки! Что с ним споделялось! Уж не убит ли?

— Убит, поди, ограблен, — отвечают другие.

— Вон и сапоги-то сняты, и шапка скрадена.

Все больше собирается народу. Живые люди увидели мертвого человека и глядят, ахают! Каждый день мрут люди, и люди все не могут привыкнуть к этому, все это кажется для них страшною, неожиданною новостью. Да, это старая история и вечно новая. Старая пьеса, не сходящая с подмосток жизни вот уже тысячелетия и все-таки потрясающая человечество.

— Да это, никак, язвенный, братцы! — заявляет кто-то из собравшихся. — У нас на Суконном дворе эдаких уж много померло, сказывают, от моровой язвы.

Толпа при этих неожиданных словах пятится назад от страшного трупа.

— Язвенный, это точно, — подтверждает другой суконщик.

Суматоха увеличивается, являются, наконец, и уличные полицейские, которые в Москве всегда тяжелы на подъем, а сто лет назад, и Господи! это были какие-то ходячие Морфеи, которые, подходя и постояв, спали, если не грызли семечек или орехов, безденежно получаемых ими со всякого лотка, со всякой лавочки.

— Стой! Не подходь к мертвому телу! — кричит полицейский, размахивая vareжкой.

— Подымать мертвое тело должен лекарь с поручиком, — подтверждает другой в деревянных кеньгах на валенках.

— Так беги живой рукой, оповести начальству, — приказывает vareжка...

Кеньги бегут "живой рукой", пряча в карман горсть семечек, которые они не успели сгрызть до открытия

мертвого тела. Варезка остается около трупа, важно глядя на народ и с укоризной на мертвого.

— Ишь, облопался для великого-то поста, — ворчит варезка.

— Не облопался... ишь, облопался! — огрызается суконщик. — Он, чу ли, язвенный.

— Что ты врешь, Дурова голова! Где у нас быть язвенным! — защищает чистоту своей Москвы полицейская варезка.

— Где быть! У нас на Суконном дворе... Вон намедни и гошпиталь спалили на Веденских горах, где язвенные померли.

— Так-так, родимый, сама я своими глазыньками видела, — подтверждает старуха с корзинкой. — Подпалили это ее, шпиталь-ту эту, начальнички сами, лекаря да солдатушки — ну, и взялось полымем... так свечкою и сгорела... А из полымя-то из самово, мать моя, она, язва-то эта моровая, совой-птицей вылетела...

— Что ты, бабушка! — ахала баба в мужниной шапке. — Совой-птицей?

— Совой, касатая девынька. Да эдак крыльями-то мах, мах, мах... Да так с дымом и улетела на Воробьевы горы.

— Ох, страхи каки!

— Уж таки-то страхи, касатая, таки страхи!.. А у совы-то глазищи, у этой язвы-то самой, у-и каки! Во!

— Так как же, бабунька, сова, значит, опять в Москву прилетела с Воробьевых гор? — любопытствует баба в мужниной шапке.

— А поди, и прилетела, проклятая...

— Ах, батюшки! Светы мои!

— Да ты что, девынька, в шапке-то? — в свою очередь любопытствует старуха.

— Да мой-от загулял, баунька, боюсь, пропьет... Я и взодела на себя.

В толпе говор необычный. Слышатся то "Горячка", то "Перевалка"; но чаще и чаще звучит — "Моровая язва".

— Вот намедни, на святках еще, померла у святого Миколы Чудотворца, что слово в Кобыльском, нянюшка господ Атюшевых, лекаря Атюшева дочки Ларисы бывая кормилка, я и хоронил ее с отпуском... А помре она раба Божия тако: привезли из полку, из турецкой земли ладонку после скончавшегося тамо моровою язвою сержанта Перекурова, привезли оную ладонку Атюшевой Ларисе, с коею был помолвлен оный, скончавшийся моровою язвою сержант Перекуров. А в ладонке той были волосы от того Перекурова. И те власы та нянюшка господ Атюшевых, рекомая Пахомовна, по простоте своей и неведению лобызала, понеже тот Перекуров, что от язвы в турецкой земле скончался, тако же как и Лариса Атюшева, был вскормлен оною приснопоминаемою рабою Божиею Пахомовною. А та Пахомовна, как занемогла, лежала у сторожа церкви Миколы Чудотворца в Кобыльском и от оного, по родству с неким суконщиком, была привезена им на Суконный двор, где язвою той и скончалася... И отсюда она, язва, по Москве пошла: первым делом скончалася вся семья церковного сторожа святого Миколы Чудотворца в Кобыльском, я и напутствовал их, а за ними язва пошла и по Суконному двору, а с Суконного двора и на Москву перешла.

Разглагольствования "гулящего попка" были прерваны приездом лекаря и полицейского поручика. Завидя сани с начальством, толпа расступилась. Из саней первым выскочил небольшой кругленький человек в ергаке и в шапке с ушами. Это был лекарь. За ним вывалился полицейский поручик. Приезжие подошли к трупу...

— Те-те-те! Старая знакомая... молдаваночка... Она, она, узнаю голубушку. Ишь, шельма, куда затесалася. Мы от нее, а она за нами, говорил лекарь, разводя

руками. — Это, батенька, она, сучья дочь, незваная гостья к вам пожаловала; рады не рады, принимайте, — обратился он к полицейскому поручику.

— Не может быть, господин доктор! — испуганно не соглашался тот. — У нас все, кажись, чисто... Да и карантены охраняют Москву...

— Так-то они, батенька государь мой, охраняют... Да за нею, шельмою, и не углядишь... Вон в Киеве некий Васька-кот, большой ферлакур и петиметр, махался, государь мой, с некоею прекрасною кошечкой... Василий-то Васильевич, государь мой, жил на Горах, его прекрасная матреса на Подоле. А на Подоле-то, государь мой, была моровая язва, а на Горах-то ее не было, через рогатки не пущали... Так Васенька-то, махаячись с своею матресою по крышам да по чердакам чумных домов, где развешивалось язвенное белье, и занес заразу на Горы... Как донесли, государь мой, о сем ея императорскому величеству, так они изволили и ручками развести...

Толпа понадвинулась. Веселый лекарь ее поободрил. Но лекарь обратился к толпе:

— А вы, голубчики, подалше от этого покойничка... Он из таких, что вскочит и погонится за нами.

Толпа шарахнулась назад. Бабы заахали.

— А вы, батенька, — обратился лекарь снова к полицейскому, прикажите бережно, у! наиборежнее, сего новопреставленного раба Божия, имярек, баграми стащить на съезжий двор пока, да произвести дознание, что и как... Да ни-ни-ни! Волосы его не троньте, подалше от него... А там мы распорядимся. Я же повинен, государь мой, неупустительно доложить о сем, как его сиятельству, господину московскому главному начальнику, генерал-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, так и матушке государственной медицинской коллегии конторе самолично... А вам, батенька, советую непомедлительно

заехать в первую аптеку да спросить там некоего иру, такой корешок есть, иром называется, ирный корень, да и держать его всегда во рту, когда вам придется возиться с сумнительными больными, да и полицейским служителям, кои около сего почтенного мужа (он указал на распростертый на земле труп) обхождение по службе иметь будут, дайте в зубы, государь мой, по ирному корешку и посоветуйте им заменить подсолнуховые семена, до коих ваши полицейские чины большие охотники, ирным корешком... Корешок преполезный, вкуса и запаха преотменного... А засим, государь мой, счастливо оставаться и с прекрасною молдаваночкою не встречаться.

И взяв первого попавшегося извозчика, веселый доктор велел везти себя прямо к московскому главному начальнику, к графу Салтыкову. В веселом докторе читатель, вероятно, узнал того милого человека на вате, который пользовал, на привале у Прута, нашего чумного сержанта Сашу и уверял, что смерть на чистенькой подушечке в лазарете, а не на перевязочном пункте малина, а не смерть. Это был штаб-лекарь Крестьян Крестьянович Граве, русский немец, совсем обрусевший милый человек, вечно бодрый и неутомимый, всегда веселый, несказанно любимый солдатами и офицерами и сам не любивший только перевязочных пунктов и "главного мясника", как он называл полкового хирурга, за то что хирург отнимал у его любимых солдатиков "ручки и ножки" и все равно потом зарывал их в землю, только "калеками"... Это и заставило его выйти в отставку.

— Ишь, веселый какой барин! — галдела толпа вслед удалявшемуся доктору.

— А добер, кажись, пра, добер...

— Кот, слышь, в Киев язву занес... От кота этого, бестии, мор и по свету пошел. Эко, Господи...



\* \* \*

Салтыков, крупная историческая личность, доживал свой век на почете, в звании главнокомандующего Москвы. А когда-то, очень давно, он был действительным главнокомандующим — командовал войсками в кровопролитных битвах с страшным Фридрихом Великим и побеждал страшного Фрица... Но это было так давно, так далеко, что и самому Салтыкову стало уже казаться, что этого не было вовсе, что это о нем так только рассказывают льстецы и искатели. Да и было ли оно в самом деле это золотое, за тридцать земель улетевшее время? Не был ли это сон, мечтание сладкое? Была ли когда-нибудь эта молодость дивная, которая только во сне теперь пригрезиться может? Было ли, полно, это голубое небо, каким оно представляется в снах старческих? И если было все это, то зачем прошло, падучею звездою по небу прокатилось? Зачем от всего, от славы и молодости, остались только подагра, да почечуй, да глухота, да слепота? Куда девались армии, которыми он когда-то командовал?

Так думается иногда старому графу в долгие бессонные ночи. И куда сон девался? На полях битв, что ли, остался он, с запахом ли пересохших лавров отлетел, испарился?.. Проклятое время!

А теперь граф занят делами по управлению первопрестольным градом Москвою. Его сиятельство, елико возможно, бодрится, принимая с докладом господина бригадира и московского обер-полицмейстера Николая Ивановича Бахметева, который, вытянувшись в струнку, рапортует, что на Москве все обстоит благополучно: на Пречистенке двух армян зарезали, на Сретенке купца убили, в Голичном ряду семнадцать лавок подломали, у Андронья пьяный пономарь колокол разбил, у Николы в Кобыльском икона

плакала, у генерала Федора Ивановича Мамонова борзая сука тремя щенками оценилась, и все с глазами. Его сиятельство, благосклонно улыбаясь и посыпая мимо носа белый пикейный жилет табаком из массивной жалованной табакерки, ласково выслушивает донесение господина обер-полицмейстера, при каждом сведении кивает головой в знак одобрения и только при последнем известии оживляется:

— Как, государь мой, и все с глазами?

— С глазами, ваше сиятельство!

— Так съезди тотчас к Федору Ивановичу, попроси для меня одного.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

— Да, смотри, не простуди его, под камзолом укрой.

Обер-полицмейстер кланяется... Тут же в кабинете около графа возится несколько собак, которые со всех сторон обнюхивают господина обер-полицмейстера, а обер-полицмейстер им дружески улыбается. У камина перед развалившейся на ковре ожиревшей сукой почтительно стоит лакей в графской ливрее и предлагает суке на серебряном подносе сухари в сливках. Сука лениво отворачивается.

— Так вы, государь мой, утверждаетесь на том, что у меня на Москве моровой язвы не будет? — обращается граф к почтенному, в богатом камзоле гостю с красным лицом и жирным подбородком, сидящему поодаль и следящему глазами за ухаживаниями лакея перед капризной сукой.

— Утверждаюсь, ваше сиятельство, — уверенно отвечает господин с жирным подбородком.

— А я уж было за собачек моих испугался, — граф жует губами, посыпает табаком жилет и что-то припоминает. — Вспомнил... А в гофшпитале, государь мой, что на Веденских горах, где вместе с язвенными был заперт доктор Шафонский?

— Там, ваше сиятельство, болезнь прекратилась и гошпиталь сожжена.

— Как сожжена, государь мой? Кем? Кто поджигатель?

— Гошпиталь сожжена по приказанию вашего сиятельства.

Граф в состоянии столбняка... Табак сыплется на пол... Руки дрожат...

— Как? Кто смел?

— Гошпиталь сожжена по высочайшему повелению, ваше сиятельство.

— По высочайшему повелению?.. А-а! Забыл, забыл, государь мой. Стар становлюсь... Так сгорела?

— Сгорела, ваше сиятельство.

— А поджигателя поймали?

Все молчат... Тяжко видеть развалину.

В эту минуту графу докладывают, что штаб-лекарь Граве испрашивает у его сиятельства аудиенцию по самонужнейшему государственному делу. Доктора с жирным подбородком при этом известии сильно передергивает.

Веселый доктор шариком вкатывается в кабинет графа и останавливается в изумлении. Собаки стаяй обступают его и, радостно виляя хвостами, бросаются к ошеломленному добряку.

— Хе-хе-хе! Сейчас видно доброго человека, — радостно шамкает граф. Сразу собачки мои почуяли честного человека... Очень рад... Что прикажете, государь мой?

— Я уже имел честь представляться вашему сиятельству... Штаб-лекарь Граве. Я из армии.

— Забыл... забыл, государь мой. Дела много у меня. Что прикажете?

— Сейчас, ваше сиятельство, на улице, у церкви священномученика Власия, найдено мертвое тело с явными знаками моровой язвы, и я счел священным

долгом немедленно довести о том до сведения вашего сиятельства на предмет принятия неотлагательных энергических мер.

Граф поражен. Он вопрошающе смотрит то на обер-полицмейстера, то на доктора с жирным подбородком, то на веселого доктора...

— Что вы! На улице?

— Так точно, ваше сиятельство.

Граф совсем теряет голову и только разводит руками. Доктор с жирным подбородком смотрит на веселого доктора и недоверчиво и не совсем дружелюбно.

Потом граф как бы опомнился. Голова его затряслась:

— Как же вы докладываете мне, государь мой, что все обстоит благополучно? А это что?

Обер-полицмейстер молчит. Доктор с жирным подбородком встает и беспокойно переминается с ноги на ногу.

— Сейчас же запереть всех моих собак! Принять неупустительные меры. А! В городе... на улице... у меня, можно сказать, под носом, и я не знаю!

Граф топчется на месте. Собаки окружают его, не дают двигаться. Жирная сука подходит к лакею и протягивает морду, чтобы взять сухарь... Она кушает.

— Вот, вот... очень рад, очень рад! К ней аппетит возвращается, радуется граф. — Ну так что же, государь мой? — обращается он с веселым лицом к веселому доктору.

— Чума по Москве ходит, ваше сиятельство.

— Очень рад, очень рад... К ней аппетит возвращается!

Лакей фыркает. Обер-полицмейстер прячет глаза. Веселый доктор делает безнадежный жест...

— Ты что? — спрашивает граф лакея.

— Флора, ваше сиятельство, изволили разом два куска сглотнуть.

— Очень рад... очень рад. Так принять меры и донести мне. Отпускаю вас, государи мои. Я устал...

Старик действительно устал... жить. Все откланиваются.

## VII. ЕРОПКИН И АМВРОСИЙ

До сих пор Москва все еще не подозревала, что чума гнездится в ее стенах, что страшные гнезда эти, в форме невидимых, неосязаемых, даже необоняемых атомистических миазм, она разбросала во все концы города, пересылая их из дома в дом, из квартала в квартал, из церкви в церковь, от одной площади до другой, то на немытой рубахе фабричного, то на грязном истоптанном лапте чернорабочего, то на чапане больничного сторожа, то на лопате гробокопателя, копавшего яму для язвенного, то на церковном покрове, прикасавшемся к савану покойника, то на животворящем кресте Господнем, к которому прикасались коснеющие губы напутствуемого... Невидимая, рука смерти через водосточные трубы пускала эти губительные гнезда заразы на воду, и зараза через питье входила в живые организмы и в жизнь вносила смерть.

— Бог наслал на нас язву за грехи наши, — задумчиво говорил Амвросий собеседнику своему, красивому, в военном камзоле мужчине, сидевшему в кабинете архиепископа, в покоях Чудова монастыря.

— Так, ваше преосвященство, — отвечал собеседник Амвросия, нетерпеливо постукивая пальцами по своей расшитой золотом треуголке, — но извините, владыко, ссылаться на "грехи наши" это, как говаривал мой наставник в риторике, общее место... Нам нужно дело, а не общее место.

— Я и докладываю вашему превосходительству дело, а не общее место, строго сказал архиепископ.

— В вашем сани, конечно, оно так...

— Не в сани архиепископа, государь мой, а в сани человека я докладываю вам.

— Перед вами, владыко, не просто человек, а лицо, не по заслугам снисканное высочайшим доверием всемилостливейшей государыни моей на трудное дело прекращения сей язвы.

— Я и докладываю вашему превосходительству как представителю высочайшей персоны и воли ея императорского величества, — настаивал Амвросий, нетерпеливо звякая четками.

Собеседник его не отвечал, но этот ответ можно было прочитать на его открытом лице: "Поп везде попом останется".

— Вот вы теперь меры изыскиваете, как бы помочь горю, — продолжал Амвросий, — хорошие меры — дело хорошее. Но не в мерах спасение наше, государь мой, а в сердечном покаянии о грехах наших...

Собеседник даже пожал плечами от нетерпения: "Вот попина наладил! Тут надо биться, чтоб проклятая язва из Москвы не вышла да до Петербурга не добралась, а он о грехах долбит".

— Ваши меры уподобятся врачеваниям болеющего, — продолжал архиепископ, — и то хорошо, врачуйте недугующего брата... Болит ли кто у вас, — ну и прочая, и прочая... Кто недужен горячкою, врачуй от горячки, у кого рука поражена гангреною, урежь руку. Врачуйте, государь мой, урезывайте, урежьте всю Москву, яко пораженный член России... Но это не все, надо покаяться... Припомните, государь мой, Египет, Индию. Из каких гнездилищ сей благословенной страны во все века исходила на мир Божий язва? Из гнездилищ, в коих жили париисии...

Собеседник Амвросия выпрямился. Речь архиепископа, видимо, производила на него действие. На лице его уже не было написано: "Поп везде поп, все о грехах долбит"...

— Где, государь мой, в наши времена зарождается моровая язва? В Персии и Турции. А отчего? Полагаю, от

бедности, от грязи, от невежества. Вот что лечить надо.

Собеседник Амвросия встал и беспокойно заходил по комнате. В живых глазах его блеснула энергия.

— Вы правы, ваше преосвященство, — сказал он, останавливаясь перед Амвросием, — много, много надо сделать. Мы — точно грешны.

Амвросий улыбнулся. Лицо его приняло ласковое выражение.

— Виноват, ваше преосвященство, — продолжал Еропкин, — теперь я совершенно вас понимаю. Так вы полагаете не менее десяти кладбищ отвести за городом?

— Не менее: город велик...

— И никого при городских церквях не погребать?

— Ни-ни... ни единого покойника.

— А благородных и чиновных людей? У нас, ваше преосвященство, знаете, обычай древний...

— Не все то хорошо, ваше превосходительство, что древне: и грех имеет свое родословное древо, и бедность славится своею древностью, токмо...

— Согласен, согласен. Так и чиновных?

— Ну, для чиновных покойников можно будет отвести кладбища при загородных монастырях...

— Да, это хорошо, и почет...

— В Донском можно хоронить, в Новодевичьем, в Спасоандроньевом.

— Преотменно. Так мы посему и распорядимся.

Это говорил Еропкин. Когда, после отыскания на улице, близ церкви священномученика Власия, мертвого тела с явными признаками чумы на теле, веселый доктор, в присутствии доктора с жирным подбородком, который был не кто иной, как московский штаб-физик и медицинской конторы член, доктор Риндер, главный медицинский туз в Москве, по невежеству ли или по каким-либо политическим и экономическим соображениям отрицавший



существование в Москве настоящей моровой язвы или индийской чумы, — когда веселый доктор напугал графа Салтыкова положительным заверением, что "чума по Москве ходит" уже на собственных ногах и хватает людей за плечи и за икры, как бешеная собака, и когда Салтыков донес о том императрице, Екатерина, зная дряхлость графа и неспособность управиться с такою страшною гостьей, как чума, сказала докладывавшему ей о том князю Вяземскому:

— Нет, это не Фридрих Великий и не графу Салтыкову с нею бороться. Если мой милый старичок мог победить Фридриха там, то тут его Фридрих победит. Я пошлю в Москву Еропкина, он умен, расторопен, находчив. А чтоб не обижать старичка графа и не отвлекать от собачек, я командирую к нему Еропкина якобы "под главное надзирание его сиятельства".

И именным указом, 25 марта, генерал-поручик и сенатор Петр Дмитриевич Еропкин был назначен полным хозяином Москвы, хотя в указе и сказано было, что государыня "все предосторожности и попечения о хранении от опасной болезни столичного ея города Москвы гораздо усугубит и все оное распоряжение и сохранение помянутому господину генерал-поручику, по известной ея императорскому величеству его усердности, под главным надзиранием господина генерал-фельдмаршала графа Салтыкова, высочайше препоручить соизволила".

В то время, когда Еропкин, вскоре после принятия в свое ведение Москвы, приехал в Чудов монастырь к Ампросию, чтобы посоветоваться насчет перевода кладбищ за город, и когда они толковали об этом и немножко даже поспорили, Амвросий нечаянно выглянул в окно и увидел против своих келий огромную толпу народа. Толпа переминалась на месте, толкаясь и об чем-то горячо споря. Иные лица прямо обращены

были к окнам архиепископских келий. Ясно, народ ждет кого-то, ищет...

— Что бы сие означало, не понимаю, — сказал Амвросий несколько встревоженно.

— А что там? — спросил Еропкин, подходя к окну.

— Народ собрался, чего бы им нужно было?

— А не о кладбищах ли прослушал? Так просить, может, думают...

Амвросий позвонил. На колокольчик явился служка, молодой, с добродушным лицом малый, с толстою черною косою, выползавшей на широкую спину из-под черной скуфейки, — малый, скорее смахивавший на запорожца, чем на монастырского служку.

— Что за люди там под окнами? — спросил архиерей.

— А громада собралась, ваше преосвященство, — добродушно ответил запорожец в рясе.

— Какая громада, дурной?

— Та от до их.

И запорожец в рясе лениво ткнул широкою ладонью по направлению к Еропкину. И Еропкин, и архиерей улыбнулись.

— Чего же им от меня нужно, хлопче? — весело спросил Еропкин.

— Та просить, мабудь, де що...

Толпа, однако, прибывала, а единственный полицейский, стоя у ограды, преусердно чесал себе спину по-евиному: терся спиной об ограду.

Еропкин, наскоро простившись с архиепископом и сказав, что он наведается к нему по делам, вышел к толпе. За ним вышел и архиерейский служка.

При виде генерала толпа обнажила головы. Заколыхался целый лес волос всевозможных мастей, но с сильным преобладанием русоватости и нечесаности.

— Чего вам нужно, ребята? — по-солдатски спросил Еропкин.

— Мы к вашей милости, — загалдели и замотались головы, кланяясь и встряхиваясь, как в церкви перед иконой.

— В чем ваша просьба?

— Вели распечатать! Голодом помираем!

— Будь отцом! Заступись! Дай за себя Бога молить!

— В разор разорили нас, батюшка! Защити! Укроти их алчобу несытую!

— Сделай Божескую милость! Не пусти по миру.

Разверстые глотки распустились и удержу им нет. Понять эту коллективную народную петицию нет никакой возможности. И Еропкин должен был прибегнуть к знакомой русскому человеку речи, к сильному ораторскому приему.

— Молчать! — закричал он, как на ученье.

Разверстые глотки остались разверстыми, рты так и замерли открытыми, но безмолвными. Еропкин понял, что вступление к его речи оказалось удачным, и потому он продолжал в том же русском стиле, с прибавлением в скобках крепких, любезных русскому уху слов или крепостей словесных, вроде трах-тарарах и тому подобных трехпредложных междометий и глаголов.

— Вы, такие-сякие, ворвались сюда без спросу! Кто позволил вам ломиться в монастырь, нарушать тишину святого места? Я вас, трах-тарарах, перепорю всех до единого! Чего вам нужно? Говори один кто-нибудь, да потолковей, да покороче... Вот ты, старик, говори, в чем ваша просьба?..

Еропкин указал на старенького-старенького старичка со слезящимися от ветхости глазами и с бородой грязно-желтой, словно закоптелюю или залежавшеюся в могиле. Старик мям шапку фасона времен Ивана Васильевича Грозного, шапку, чудом уцелевшую от опричнины.

— Говори, старик!

— Государь-батюшка, смилуйся, пожалуйста! — зашамкал старик языком челобитных времен царя Алексея Михайловича. — Мы, холопы ваши, московские банщики, челобитную приносим тебе, вашему сиятельству, на твоих слуг государевых, на полицейских воровских людей...

— Что ты вздор городишь, старый дурак! — осадил оратора Еропкин. Говори дело, какие воровские люди?

— А печатальщики, батюшка-князь, что запечатали добро наше, и нам с женишками и детишками помереть пришло голодной смертию... Государь-батюшка, смилуйся, пожалуй!

— Какие печатальщики? Какое добро запечатали? Говори ты! — накинулся Еропкин на детину из Голичного ряда, который любил толкаться, где много народу. — Сказывай ты, а то от бестолкового старика ничего не добьешься... Ну!

— Мы, ваше сиятельство, голицами торговали, — начал детина, который был не робкого десятка, — а намедни, значит, бани запечатали...

— Ну, запечатали, так что ж?

— А нам мыться негде...

— Вот претензия! Да тебе, быку эдакому, зимой в проруби купаться, так за честь, — засмеялся Еропкин. Детина осклабил свой рот до ушей.

— А мы, ваше сиятельство, банщики, нам детей кормить надо, осмелился другой парень, видя, что страшный генерал не сердится. — Мы без работы с голоду помираем...

— Государь-батюшка, смилуйся, пожалуй! Не вели казнить! — снова завопил старик языком челобитных. — Мы твои холопы государевы... смилуйся, пожалуй!

— "Вели бани распечатать!" — "Защити!" — "Не пусти помиру!" — "Сделай Божескую такую милость!" — прорвалась плотина, снова разверзлись глотки всего

соборища банщиков и не банщиков. — "Распечатай!" — "Заступись!"

Еропкин опять должен прибегать к испытанному средству, к ораторским приемам в русском стиле:

— Молчать, каналы!..

Рты опять закрылись. Передние ряды попятились, навалили на задних, те дрогнули, шарахнулись...

— Ишь, сволочь, чего захотела! Отпечатай им торговые бани. Да вы все там перезаразитесь и заразите весь город. Вон и так язва уж в городе.

— Где язва в городе, батюшка! Никакой у нас язвы нетути, — заговорил другой старик. — Коли суконщики мрут, дак это их ремесло такое. Фабричному как не мереть!

— Шерсть, чу, заразную к им из Серпухова отай привезли.

— Не шерсть, а голицы, чу, от морной скотины шкуру.

— Как голицы? Что ты врешь!

— Не вру... за грош купал, за грош и продаю.

— То-то, грош...

— Не голицы, а кот, слышь, из Киева чумный прибег.

— Где коту из Киева до Москвы добежать! Не кот.

— Знамо, не кот... А из полку, из турецкой земли, сказывают, от мертвой цыганки волосы привезли, целу косу, бают.

— Не косу, а образок, чу, с волосами, от офицера к его невесте, Атюшевой прозывается, Лариса... От ее мор пошел.

— А вон люди бают, не от ее, а от собачки махонькой, полковой, Маланьей зовут, солдат сказывал.

Еропкин чувствовал, что у него голова начинает кружиться от этого невообразимого гама и от этой ужасающей чепухи, в которую превращался народный говор. Он видел, что, покажи он малейшую слабость и нерешительность, ему этого народного моря уже не унять без потоков крови... Этот кот, что "прибег из

Киева", "голица от чумной шкуры", "коса какой-то цыганки", "махонькая полковая собачка"... да это уже народные легенды, верованья, которые из них пушками не вышибешь.

Еропкин все это сразу сообразил и понял, что Москва стоит над пороховым погребом, что достаточно одной искры, чепухи вроде кота, что "прибег из Киева", и Москву внесет на воздух.

— Молчать! — в третий раз прибег он к верному, ошпаривающему средству, к крепкому слову, которое для русского народа сильнее всяких заклинаний. — Бани запечатаны для того, чтоб народ в них друг другу заразу не передавал.

— Как же, батюшка, от мытья-то зараза быть может?

— Она, сказывают, от нечисти, так надо мыться.

— И мертвых, чу, обмывают, а живых и подавно.

Еропкин поднял кверху толстую, с золотым массивным набалдашником трость и сделал два шага вперед с угрожающим жестом.

— Если кто из вас пикнет хоть, так того сейчас же в колодки и в Сибирь! — резким, надтреснутым голосом крикнул он. — Торговые бани, слышите, мерзавцы! Торговые бани запечатаны по высочайшему ея императорскому величеству повелению... Слышите! По высочайшему повелению. Так ни я, ни кто в мире их, без указа ея величества, распечатать не может. Я передаю вам высочайшую волю. А теперь по домам! Марш! А то я прикажу вас всех нагайками загонять в ваши стойла. Вон отсюда!

Передние ряды смяли задние... Вместо оторопелых лиц — спины. Все бросились к выходу, и через минуту из окон Чудова монастыря виден был лишь прежний часовой, от страха и изумления прикипевший к земле.

— Чтобы вперед народ не собирался кучами, а то я тебя пугну! крикнул ему Еропкин, садясь в коляску.

Архиерейский служка, напоминая заповоржца в рясе, даже свистнул от удивления.

— От сердитый, так сердитый! Ой-ой-ой!

При выезде из Спасских ворот Еропкин встретил веселого доктора, который скакал куда-то на паре ямских. Доктор остановился.

— А! Это вы, доктор, — ласково сказал Еропкин, приказав своей коляске остановиться. — Куда мчитесь?

— К вашему превосходительству.

— С дурными вестями?

— Ни с дурными, ни с хорошими, а с докладом. По приказанию вашего превосходительства.

Еропкин перебил его торопливо:

— Нам время дорого, доктор, и мы не должны воровать его у государства. Не удлиняйте вашу речь пустыми словами вроде "ваше превосходительство"... Для краткости и для пользы службы называйте меня просто "генерал". Это короче, а то и никак, это еще короче.

— Слушаю-сь.

— Ну?

— Я сейчас был в Симоновом и Даниловом монастыре, куда переведены фабричные с Суконного двора. Подойдя с надлежащею осторожностью к воротам, я, с ведома караульного офицера, приказал вызвать к калитке запертого в том монастыре вместе с фабричными подлекаря и чрез огонь расспросить его обстоятельно, были ли вновь из фабричников заболевшие и умершие и оба сия приключения каким порядком происходили... Из ответов подлекаря я узнал, что и умершие, и вновь заболевшие были и что по признакам болезнь та, несомненно, моровая язва, с какою я в Бессарабии познакомился...

Еропкин сурово задумался.

— Благодарю, — сказал он, тотчас опомнившись. — А из тех тысячи семисот семидесяти фабричников, что

разбежались по городу, много полицией разыскано и в монастыри доставлено?

— Мало, почти никто не пойман.

Еропкин насупился. Он чувствовал, что чума гуляет по Москве, не поймать уже ее. Предстоит страшное дело и страшная борьба...

— В последующие разы, доктор, — начал он торопливо, — я вижу, что вы добрый и честный человек, так в последующие разы, когда вы будете осведомляться о ходе болезни в Симоновом и Даниловом монастырях, я вам поручаю как у подлекарей, что заперты в монастырях с фабричниками, так и у их старост доподлинно узнавайте о том, получают ли все фабричные определенную им порцию, и какова она качеством и довольно ль все они одеты и обуты, и не имеют ли в чем какого недостатка, и не притесняет ли кто их. Так я уж на вас надеюсь.

Коляска тронулась, и Еропкин ускочил. Толпы банщиков, понурив головы, медленно расходились по домам. Веселый доктор, сообразив что-то с минуту, приказал своему вознице заворотить от Спасских ворот и ехать мимо церкви Василия Блаженного.

В это время он увидел, что к церкви подходит какая-то девушка, совсем молоденькая, но вся в черном, с траурными неприятно режущими глаз белыми каймами на платье, глубоко задумчивая и глубоко печальная. Подойдя к церкви, она остановилась, по-видимому, в тяжелой нерешительности...

Доктор узнал ее. Доброе, круглое, лоснящееся от усталости лицо его сразу побагровело, потом побледнело, приняло горькое, тоскующее выражение... Он торопливо велел своему вознице остановиться и стремительно, шариком покатился к девушке.

— Лариса Владимировна! — грустно, не своим голосом окликнул он.



Та с удивлением и испугом остановилась. Она, казалось, не помнила, где она и что с ней.

— Вы не узнаете меня? — робко спросил доктор.

Девушка опомнилась. Глаза ее, большие, черные, с длинным разрезом и как бы усталые, блеснули странным светом. Но как она изменилась с того вечера, когда гадала о суженом! Матовое, несколько смуглое, словно выточенное, лицо ее побледнело, успело из детского превратиться в лицо большой девушки. Цыганеночку она напоминала теперь только очертаниями лба и изгибами длинных бровей, но уже не глазами, в глазах было что-то слишком грустное, даже что-то большее, чем грусть...

— Нет, я узнала вас, доктор, — тихо сказала девушка. — А вы давно воротились оттуда?

В глазах ее, сквозь детское выражение, промелькнуло что-то такое, от чего веселый доктор готов был заплакать, разрыдаться. Но он пересилил себя и отвечал:

— Недавно, Лариса Владимировна. О! Тяжело вспоминать. Это...

Девушка понимала это недосказанное "это". Они думали об одном.

— Ведь он умер на моих руках, — продолжал доктор свою тяжелую исповедь.

— Да, знаю. Мне говорил Грачев.

Девушка вздохнула и задумалась. Она говорила так, как будто то, о чем говорилось, еще тут вблизи где-то, да не откликается.

— Он был первый в нашей армии, на котором я увидел знаки этой проклятой болезни. Меня поздно уведомили, что он занемог.

— Да, да, — как бы думая о чем-то своем, повторяла девушка.

— Умирая, в бреду, в агонии, он шептал ваше имя и имя какой-то цыганки.

— Да, да, — повторяла девушка.

— Я догадываюсь, она передала ему заразу.

— Да, да.

Веселому доктору становится невыносимо тяжело. В первый раз в жизни он видит такое безмолвное горе и у такого молодого существа.

— Я очень жалею, что за недосугом не успел быть еще у вас. Батюшка здоров? — снова заговаривает доктор.

— Да, здоров, — все тем же упавшим голосом отвечала девушка. Потом с какой-то особой силой прибавила: — Но няня, Пахомовна, умерла...

Доктор заметил это что-то особенное в ответе и спросил:

— Чем она умерла?

— Вот... этой... — девушка не договорила.

— От кого же она могла заразиться?

Доктор сам испугался своего вопроса, когда взглянул на девушку, она, казалось, должна была упасть.

— Вам дурно? Ради Бога, что с вами?

— Ничего... я вам все скажу, — как-то торопливо отвечала девушка. — Я заразила няню, я заразила всю Москву, от меня пошла эта страшная болезнь.

Доктор испугался. Он думал, что перед ним несчастная, помешавшаяся от горя. Он сразу не нашелся, что сказать.

— Грачев привез медальон, образок от него, — все также торопливо продолжала девушка. — В образке его волосы. Грачев от больного отрезал локон. Няня целовала их. От няни заразилась семья сторожа у Николы в Кобыльском и тот купец, что нашли на улице у Власия. Больную няню племянник ее, суконщик, свез на Суконный двор. Оттуда и пошла зараза. От меня. Меня надо сжечь.

Доктор схватил девушку за руку. Рука была холодна, как у мертвеца.

— Ради Бога, успокойтесь, — едва выговаривал от волнения доктор. Как же вы сами? Где же эти несчастные волосы?

— У меня на груди.

— И вы прикасались к ним?

— Нет... Я поклялась отцу и брату не дотрагиваться до них и не видеть их до смерти. Образок закрыли, его окуривали, обмывали...

Доктор задумался, продолжая держать руку девушки, как бы стараясь отогреть ее в своей руке.

— Я буду у вас, я поговорю с вашим батюшкой об этом деле, — говорил он, сильно пожимая маленькую холодную ручку. — А теперь вы шли в церковь?

— Да. Я хотела... Я... — девушка замялась и вспыхнула: детский румянец на бледных щеках и детское выражение стыдливых глаз выдали какую-то тайну, что-то недосказанное. Девушка, видимо, решалась на что-то серьезное, не детское, но еще не решилась, не осилила себя. Доктор понял это.

— Я скоро буду у вас, — сказал он. — А вы, девочка милая (он взглянул ей в глаза своими добрыми глазами), вы забудьте вашу "Пахонину" (у девушки задрожали губы при этом напоминании), ей пора было на погост. А пока держите клятву, данную отцу, не заглядывайте в медальончик, а главное, не решайтесь пока ни на что (доктор сделал ударение), не поговорив с батюшкой или со мной. Ведь я вас, милая девочка, когда-то на руках носил. Бывало, кричите мне навстречу: "На меня, дядя Кистяк, на, на ручки". Так-то, милая девочка. А теперь прощайте.

Он крепко пожал ей руку и направился к своему вознице. Девушка вошла в церковь.

## VIII. "ДЕВОЧКА ЗАБРАЛА СЕБЕ В ГОЛОВУ"

— А девочка-то забрала себе что-то в голову, — бормотал сам с собой веселый доктор, торопя своего возницу скорее возить его в контору государственной медицинской коллегии.

Действительно, девочка забрала себе в голову...

— Скорее бы к нему! — шептала она, томясь в горячей от ее пылающего тела постели в продолжении всей длинной, мучительной зимней ночи.

Всю ночь она порывалась открыть ужасный образок и поцеловать убийственный локон милого, чтоб сейчас и умереть тут, задохнуться, захлебнуться отчаянием и горем. Несколько раз она даже вскакивала с постели с этим безумным решением, но тотчас же, как босые ноги ее касались холодного пола, приходила в себя, вспоминала, что на этом самом образке поклялась она брату именем того, для кого она хочет умереть — хотела бы сейчас! — поклялась в том смысле, что если она изменит этой клятве, то это будет измена ему самому, его памяти, его чувству, и вспомнив все это, она со стоном прикладывала образок к горячей груди и плакала, плакала.

Эти молодые слезы и спасли ее. Утомленная ими, наплакавшись до истомы, до потери возможности стройных представлений, она к утру уснула таким крепким, мертвецким сном, который скорее можно назвать не мертвецким, а сном жизни, здоровья, каким может только спать чистая и здоровая телом и духом молодость.

Но когда через несколько дней она неожиданно узнала, что няня действительно умерла где-то, когда по

осмотру тела умершей отцом и братом Ларисы, которые оба были медики, оказалось, что старушка умерла точно от моровой язвы, от чумы, когда потом до девушки стали доходить слухи о том, что это ужасная болезнь поселилась на Суконном дворе, именно там, где умерла Пахомовна, а затем стала хватать жертвы по городу, опять-таки по прикосновенности к Суконному двору и его рабочим, девушка пришла к страшному убеждению, что она явилась тут невинно тою ужасающею мир десницею гневного бога, которая налегла теперь на ее родной город, спустившись с небес моровою тучею...

К личному горю ее присоединилось теперь это ужасное сознание, от которого нельзя было не содрогаться. Она увидела себя в центре какого-то страшного кладбища, где из всех гробов вставали мертвецы и указывали на нее, на ее грудь, на которой хранилось что-то ужасающее, но ей все же дорогое. Казалось, вся жизнь превращалась для нее в одно кладбище, кругом мертвецы, а она одна только живет, хотя чувствует, что не должна жить.

И брат, и отец, которого она очень любила, но которого, вечно занятого больными в своем госпитале, она редко видела, по-видимому, избегали с ней разговоров о том, что делается в городе. Отец, впрочем, когда брат, после смерти няни, рассказал ему историю с образком и волосами, хотя и успокоил ее, что, быть может, образок тут ни при чем, однако осмотрел его и окурил; но, не имея сил ни в чем отказать своей любимице, хотя и не уничтожил его, тем не менее запер в ее шкатулку и ключ спрятал у себя.

С каждым днем девушка все более и более убеждалась, что в городе очень не ладно. Все это еще более сгущало тот мрак, который налег ей на душу. Она буквально на находила себе места, стала молиться, но и молитва не приносила ей ни утешения, ни облегчения: на душе оставался все тот же мрак... Да и о чем она

могла молиться? Как? Просить? Но о чем? Ей не о чем было просить. Жаловаться? Но на кого, на что, а главное, кому? Плакать перед образами, до утомления биться об церковный пол, об пол своей маленькой спальни? Она плакала, не чувствуя облегчения, и колотилась об холодный, каменный помост церквей; но и в сердце, и в голосе оставалось все то же...

Раз отец, видя ее тоскующей, молчаливой, не вытерпел, заговорил с нею за утренним чаем.

— Бедный мой ребенок! Все о нем думаешь?

— Нет, папа, не думаю.

— Как же не думаешь? Али я не вижу?

— Я сама не знаю, папа.

— Ну, тоскуешь, в душе сохнешь, это еще хуже. Я понимаю это, моя бедненькая: я сам то же испытывал, когда умерла твоя мать. Ведь мы с нею только два года жили. Тебе пошел второй годок, как она скончалась, а Саня только родился. Ну, я и обезумел было от горя, забыл даже про вас. Только покойница Пахомовна напоминала мне о вас. Тебе и "Пахонину" жаль, дружок?

— Да, папа, жаль.

— Ну, вот что, "Пахонина", иди-ка лучше ко мне на руки, я кой-что скажу тебе, — ласково привлек он к себе свою любимицу.

Девушка повиновалась и, обхватив руками шею отца, заплакала. Ей даже показалось, что эти слезы как будто в первый раз облегчают ее.

— Ну, ничего, ничего, моя "Пахонина" бедненькая, — шептал отец, глядя черную головку дочери. — Поплачь немножко... А ты давно видела свою "курносенькую беляночку"?

— Какую, папа? — спросила девушка, продолжая сидеть на коленях у отца и смутно чувствуя, что это первое единственное кресло, сидя на котором она в первый раз почувствовала что-то похожее на облегчение.

— А "Белая березонька?" — отвечал он, улыбаясь.

— А... Настя... Я давно не видела ее. Забыла...

— Как забыла, дурочка?

— Я все забыла, папа. — И девушка снова заплакала.

— Ну, ладно... А все бы сходила к своей "Белой березоньке", поразмыкалась бы. Да?

— Да, схожу, папа.

— Ну, и ладно.

"Курносенькая беляночка" тоже ждала кого-то из армии... Она не знала только, что этот кто-то тоже рвался увидеть кого-то, да опять бы в "сенцах" встретиться, как и тогда.

...Ночь была летняя, светлая. Сирень так хорошо пахла. В соседнем саду так без толку неугомонно почему-то щелкал соловей — верно, просто по глупости щелкал и вовсе не хорошо щелкал, как и все соловьи; но всем почему-то казалось, что он хорошо щелкает, по душе и по нервам щелкает, и все слушали его, украдкой поглядывая, молодые сержантики на молодых барышень, молодые барышни, с величайшей осторожностью, на молодых сержантиков. Ну, одним словом, пустяки: молодая глупость и молодое счастье, счастье неведения, но такое хорошее это глупое молодое счастье... И соловей глупо щелкает, и сирень глупо пахнет, а хорошо всем. Говорили молодые сержантики о том, что скоро война с турками будет, что их, вероятно, пошлют на войну. Молодые сержантики говорили, а у молодых барышень сердца немножко сжимались, ну, понятно, по глупости...

Потом молодые сержантики стали прощаться с молодыми барышнями, уходя из палисадника. Всем нужно было проходить темными "сенцами", вот тут-то и являются эти "сенцы". Ох, уж эти темные "сенцы"! Выходя из палисадника и вступая в сенцы, один молодой сержантик почему-то, конечно, по глупости, все держался около "курносенькой беляночки", а

"беляночка" почему-то, опять тоже по глупости, незаметно — будто бы незаметно! — держалась около этого черномазого сержантика... В "сенцах" они нечаянно еще более приблизились друг к другу, потому темно, ничего не видать, и ах! Нечаянно, конечно, нечаянно, ненароком, руки их встретились в темноте и нечаянно, да так-то быстро, судорожно пожали одна другую, и только. Ведь глупость это, пустяки ужасные; ан нет, для них не пустяки. Между ними не было ни одно еще слово сказано такое, которое показало бы, что... и так далее... Были только взгляды, метанье искр — но что такое это метанье издали! Вздор! А тут не издали, тут руки нечаянно встретились в темноте, и лапища молодого, но здоровенного сержантика по-медвежьи сцапала пухленькую ручку "беляночки", которая, в свою очередь, словно лапочкой котенка, пожала сухую, жилистую лапищу сержантика. Вот и все! А поди ты: эти "сенцы" гвоздем засели в памяти глупых детей. Под рокот и гул ядер, под свист пуль, под стоны раненых там, в Турции, молодому сержантику вспоминались эти "сенцы" и это глупое щелканье соловья, да и "беляночке" тоже. Глупые дети!

А тут новое что-то, страшное висит над Москвой. Чаше и чаще раздаются в московских церквях звоны "на отход души". Каждое утро по всем церквам слышатся душу надрывающие перезвоны "на вынос", "на погребение".

Лариса исполнила совет отца. Напив его и брата чаем, она проводила их за ворота: отец отправился в свой госпиталь, к своим обычным занятиям, а брат ее Саня в лекарскую школу, где он учился, избрав по своей собственной склонности ремесло отца, медицину.

Проводив их, Лариса заказала кухарке обед с тем, чтобы на жаркое была телячья печенка, "папочка ее любит", сделала необходимые распоряжения по хозяйству и велела, кроме того. Клюкве (так звали



девочку, прислуживавшую Ларисе, за ее необыкновенно красные щеки) сбегать к обеду за грушевым квасом, до которого папочка тоже был большой охотник.

— В Сундушный ряд, барышня? — весело спросила девочка.

— Зачем в Сундучный?

— А за квасом грушевым, барышня.

— Что ты, Клюковка! Сундучный ряд далеко.

— Ничего, барышня, я сбегаю.

Лариса оделась и вышла на улицу. Апрельское солнце начинало уже пригревать. У заборов, на проталинах, из земли уже выглядывала зелень, не то новые стебельки молодой травки выползали на свет Божий, не то прошлогодняя зелень, спавшая всю зиму под снегом, просыпалась теперь и поглядывала на солнышко: так ли де оно "светит теперь, как в прошлом году светило?". Да, так-то так, только горя людского оно освещает теперь больше, чем тогда освещало...

Серединою улицы едет телега, везома водовозною клячею. На телеге белеется новый сосновый гроб, прикрытый ветхою-преветхою черною пеленою с некогда белыми, а теперь совершенно захватанными и загрязненными, нашитыми по углам пелены крестами, символом нечеловеческого терпения. Впереди телеги, видимо усталыми ногами, бредет знакомый уже нам "гуляющий попик" в черной, донельзя ветхой ризе, тоже с белыми, от времени и частого употребления потерявшими всякую мишурную блесккость крестами, символом Божественного милосердия. В руках у попика медный, как и сам попик, потертый временем отшлифованный лобызающими устами верующих, благословенный крест, великий и горький символ спасения. Попик время от времени возглашает что-то слабым, дребезжащим, как слабо натянутая на медной деке старых гуслей металлическая струна, голосом. Слышится по временам: "Житейское море", "К тихому

пристанищу", "Многомилостливое". Да, житейское море, о! Какое оно бурное подчас и какое мертвенно-тихое, но страшное, как вот и теперь. И "тихое пристанище" — такое тихое, каким только может быть глубокая могила.

На телеге сидит воцаной человек, весь в воцаной одежде, "мортус", у которого только клочок рыжей бородки торчит как-то вкось из-за воцаного башлыка-наличника. В руках у этого страшного возницы вместо бича, кнута или хворостины длинный багор. Эко какое знатное весло Хароново! Тот своим веслом отпихивался от берега жизни и причаливал к берегу смерти, к вратам Аида. Этот своим багром зацепляет то, к чему боятся уже прикоснуться руки человеческие, и спихивает в глубокую яму. Багор торчит вверх своим крючком, словно громадный коготь громадной хищной птицы. Да, это знакомая птица: та, что сердце Прометеево терзала. И эта терзает тело Москвы, выхватывая, словно куски сердца, несчастные жертвы, еще вчера жившие и думавшие, но выхватывает не за похищение Божественного огня с неба, а за недостатком в людях этого огня, за пренебрежением им, за их невежество, за нечистоту, за бедность, без конца бедность. Торчит хищный коготь, вот-вот когонибудь снова зацепит.

Да вон кого он хочет зацепить: за телегой, за гробом бежит девочка лет семи-восьми и горько плачет, надрывается.

— Пустите меня к мамке, я к мамке хочу! Я с ней хочу лечь!

— Нишкни, не подходи близко! — ворчит "Харон" с багром. — Зацеплю.

И багор направляется к задку телеги, грозит плачущей девочке.

Телега с гробом повернула за угол и скрылась. Лариса ускорила шаги. Позади ее что-то катилось с грохотом и слышались возгласы: "Гись! Гись!" Это

мчалась коляска с двумя верховыми казаками позади. В коляске сидел кто-то важный, зорко посматривая по сторонам. Лариса где-то видела это строгое лицо. Ах, да! Тогда, когда она ходила к Василию Блаженному и встретила доктора Крестьяна Крестьяныча, тогда этот важный барин ехал из Кремля.

— Еропкин енарал сам, — торопясь снять картуз, пробормотал какой-то купчина, стоя на пороге своей лавки. — Ишь, язву ищет. Сунься, пымай ее, скептически ворчал купчина. — Не чиста Москва, слышь... Сам — чист...

Еропкин промчался молнией. Лариса шла, не подымая головы и думая горькую думу. Но странное сердце человеческое, девушка в то же время думала и о телячьей печенке, которую "папочка любит", и о грушевом квасе из Сундучного ряда.

— Здравствуйте, милая девочка! — раздался вдруг ласковый знакомый голос.

Девушка вздрогнула и оглянулась. Это был веселый доктор, ехавший на паре ямских.

— Куда порхаете, птичечка Божья? — продолжал доктор.

— К Насте иду.

— А, "Беляночка"-то! Кланяйтесь ей. А я все к вам никак не попаду, вот все за чадушком своим гоняюсь, — и доктор указал рукой по тому направлению, куда ускакал Еропкин. — Все ловим незваную гостью, пусто б ей было! А папочка?

— Здоров, Крестьян Крестьяныч.

— И все так же печенку любит?

Девушка улыбнулась.

— А! Это хорошо. Прощайте, девочка хорошая. Мне некогда, мне дела и умереть не дадут.

Он гикнул на ямщика и помчался. Опять гроб тащится по улице; но уже без попа, без крестов, но с мортусом и багром. Какая, должно быть, бедность

страшная! Да это и видно по тому рубищу, которое надето на человека, идущего за гробом, но не плачущего, глаза сухие, но какие! Что в этих глазах сидит! Уж лучше бы они плакали, легче бы было видеть...

Прохожие снимают шапки и крестятся, качая головами. Нет-нет да и опустится у иного прохожего рука в карман, пошарит там, и на мостовую у ног идущего за гробом и не плачущего человека звякнет то копейка, то грош, то пятак, звякнет вместо колокола, который и не звонил по умершему бедняку. Опять крестится. Идущий за гробом тоже крестится, нагибается и подбирает даяние "на помин души". Надо брать!

— Эх, жисть! — слышится в стороне.

И девушка бросает свою монетку, но так неловко. Тихо звякает об камушек что-то серебряное, тот, однако, замечает, крестится и нагибается.

А из растворенной двери кабака какой-то пьяный запорожец (и как его занесло в Москву!) длинной хворостиной гонит какую-то бабу, верно, гулящую, и, притоптывая, выговаривает: — Гей, жинко, до дому!

Какая страшная мешанина жизни и смерти! Лариса бегом убегает от этого зрелища.

Настю она застала дома.

И Настя похудела за это время. Ростом она была ниже Ларисы, которая смотрелась довольно высоконькою. И характером они рознились одна от другой, как и лицами: на прозрачном, еще детски-кругленьком, не удлинившемся до длинноты возмужалости личике Насти и в ее голубых, таких же прозрачных и светлых глазах отражалась ее, если можно так выразиться, прозрачно-чистая душа, ее откровенность, быстрая восприимчивость и такая же впечатлительность, болтливый розовый ротик постоянно обнаруживал частые, белые и мелкие, как у

мышонка, зубы; у Ларисы же на смуглом, матовом лице и в больших черных, с большущими белками, но как будто усталых глазах не все отражалось, что шевелилось под черною, обвитою в два жгута вокруг головы косою и под лифом черного платья, она была сдержаннее своей пучеглазой подруги, молчаливее, замкнутее и поглубже по самому содержанию.

Настя очень обрадовалась своей подруге и тотчас поведала ей свое горе. Два молодые сержантика были зимой в Москве, но она их не видала, они лежали в госпитале, и их оттуда не выпускали в город. Но он, понятно, кто он: черномазый и сероглазый Рожнов Игнаша, он прислал ей поклон. От него приходил какой-то рыжий солдат с красными бровями и с черной косматой собачонкой, которую он называл Малашей и которая, как он говорил, "на турка ходила" и под Кагулом "на самого везиря лаяла". Потом Настя с матерью ездила на святки к родным в Кусково и там прожила до апреля. А когда воротились в Москву, то сержантов уже не было в городе, и где они, она не знает...

— Верно, опять на этой войне. Господи! Когда она кончится! заключила она со вздохом. — А скоро опять весна начнется, скоро сирень зацветет. (В прозрачных глазах ее ясно отразились темные "сенцы".) А ты, Ларочка, давно получала от Александра?

Лариса сидела как мраморная, опустив глаза и о чем-то думая. Какою детскою наивностью звучали для нее слова ее подруги! Как она сама выросла за эти месяцы, ох, как выросла! До могилы доросла...

— Давно, Лара?

— На святки, — чуть слышно отвечала Лариса.

— Что же он пишет? Скоро приедет?

— Нет, он никогда уже не приедет.

— Как! Отчего, Ларочка?

— Вместо себя он прислал локон своих волос.

— Вот какой! Но и это, душечка, хорошо. А у меня и локона его нет. Хотя я знаю, что он любит меня, но он еще ни слова не сказал мне об этом. Он такой застенчивый. А твой отчего же не едет? Не пускают?

— Он умер, Настя.

Сначала Настя как будто не поняла своей подруги. Она думала, что ослышалась, что та шутит. Но когда увидела, что Лариса сидит бледная, как потемневший мрамор, и из-под опущенных ее ресниц выкатились две слезы, тут только рассмотрела она перемену, происшедшую в ее друге с тех пор, как девушки не видались. Настя сама побледнела, ее живое личико отразило на себе и страшный испуг и глубокое горе... Она подошла к склоненной голове Ларисы, тихо взяла ее в свои руки и, припав к этой черной, скорбной головке, только заплакала, не находя слов для утешения. Да и какое тут утешение в то время, когда больше чем руку отпиливают!

Молча они плакали обе. Наплакались вдоволь.

— Что же? Как же теперь? — не знала что спросить распухшая от слез Настя, когда слезы были выплаканы.

— Не воротишь уже, — тихо отвечала Лариса покорным голосом.

— Да, не воротишь. Боже, Боже!

— Но я... надумала, — еще тише сказала Лариса.

— Что, душечка? — восторженно сказала Настя.

— Я хочу видеть его могилу.

— А где она?

— Не знаю, в Турции где-то...

— Да как же ты найдешь ее, милая?

— Я разузнаю от Крестьяна Крестьяныча, он хоронил его.

— Он! А он здесь?

— Здесь... кланяется тебе.

Лариса замолчала. Подруга не узнавала ее. И прежде Лариса была много серьезнее ее, характерная такая, а

теперь в ее словах, в ее голосе слышалась какая-то упрямая уверенность и твердость.

— Как же ты, душечка, попадешь в Турцию? — спросила Настя, хотя и верившая всегда в Лару, что та даром слов не говорит, но тут и она не знала, что думать. Турция далеко...

— Меня повезут туда! — спокойно отвечала Лариса.

— Кто же, милая, повезет-то? Твой папаша?

— Нет, вот что, Настя. При армии, за больными и ранеными ходят иногда монахини и другие женщины. Я сделаюсь сиделкой. Я уже об этом думала. Туда принимают только тех, которые уже сживали в гошпиталях. Я поступлю здесь в главную сухопутную гошпиталь, где Саня учится, и там научусь ходить за больными. Теперь уже у нас нужны сиделки: вон что начинается в Москве! Меня примут. А там я попрошусь в армию. А тут я теперь не жилица на белом свете!

Последние слова были сказаны с горечью и силой. Настя сидела не шевелясь, вся пунцовая, она тоже забирала себе что-то в голову.

— Так и я с тобой, Ларочка, пойду, — сказала она нерешительно. Возьмешь меня?

Лара молча и серьезно посмотрела на нее.

— Ты не шутишь? Обдумала?

— Не шучу. Я... — Настя еще больше покраснела.

— Подумай. Это не шутка.

— Я... я не могу жить без него, — сказала она порывисто, и светлые глаза ее потемнели. — А там, в Турции, с тобой я найду его, может быть, раненым...

В соседней комнате послышались шаги. "Маменька идет", — шепнула Настя, бледнея. Девушки прекратили разговор. Да оно и кстати: на улице пьяные голоса отхватывали:

Полоса ль моя, полосынька,  
Полоса ль моя, непаханая...

Песни, рыдания, смех, слезы, похоронный перезвон,  
"сенцы", могила, мор — все это разом валится из мешка  
жизни. Только расхлебывай!



## IX. СКАЗАНИЕ О "ПИФИКЕ". ВСТРЕЧА

На другой день утром, сойдя с своего мезонинчика вниз, к чаю, Лариса застала там веселого доктора. Крестьян Крестьяныч разговаривал о чем-то с отцом и братом. При входе Ларисы они, видимо, замяли разговор и переглянулись. Девушка со всеми поздоровалась. Она смотрела как будто бодрее, спокойнее.

— Ну, Ларивон Ларивоныч, напой-ка нас чаем, да хорошенько, — сказал отец, ласково целуя ее в голову.

— Да саечку свеженькую, милая хозяйюшка, нельзя ли? — прибавил веселый доктор, потирая пухлые свои ручки.

— А какую. Крестьян Крестьяныч? — спросила девушка. — Заварную или с изюмом?

— Заварную... заварную-с... А можно и с изюмом эдак, не претит и это.

У дверей стояла краснощекая девочка и во весь рот улыбалась, глядя на веселого доктора.

— Что, Клюковка, тебя еще воробьи не склевали? — обратился к ней веселый доктор.

Девочка прыснула со смеху.

Брат Ларисы, Саня, юный лекарский школьник, заметил: — Вашим больным. Крестьян Крестьяныч, должно быть всегда очень весело.

— Очень... Очень! Так всегда и заливаются со смеху, а теперь и удержу им нет.

Лариса командировала Клюкву за сайками и села разливать чай.

— А как "Беляночка" поживает, хозяйюшка? Не замужем еще? — спросил доктор.

— Нет, — тихо сказала Лариса, не глядя на доктора.

— Ну, ничего, подождет...

— Не до женитьбы теперь, — заметил отец Ларисы.

— Отчего же, коллега? Самое как есть время... Вы все про болезнь-то эту? Э! Пустое! Она веселья боится, такая погань, я вам доложу... А знаете что, коллегушка? — спросил веселый доктор серьезно. — Раскусили вы эту шельму, а?

— Какую, язву, что ли?

— Ее, каналью... Ведь она у нас доморощенная: ну, вот точь-в-точь как всегда на Москве были сайки, да грушевый квас, да Царь-пушка, так всегда была у нас и чума...

— Вы шутите, товарищ?

— Нет, порази меня Царь-пушка, коли я шучу... Мы ее как сайку делаем. Я докладывал об этом и своему генералу.

— Еропкину?

— Еропкину, и он согласился со мной. Мало того: его превосходительство изволило заметить, что почти то же говорит и преосвященный Амвросий, только языком ветхозаветным, а я говорю языком этой шельмы медицины. Пестис у нас, батенька, на Москве растет целыми бакчами, как дыня в Астрахани. Я вчера и его превосходительство Петра Дмитрича возил на наши чумные баштаны, так диву дался: дыньки-то уж зреют, батенька... Генерал так и об полы: "И как-де только мы и живы поднесь!"

Атюшевы, отец и сын, и Лариса с удивлением и улыбкою смотрели на веселого доктора.

— Вас, товарищ, никогда не разберешь, шутите вы или материю говорите, — улыбаясь, заметил Атюшев-отец.

— Я, батенька, всегда материю говорю, всерьез, — отвечал веселый доктор и при этом сделал такое лицо, что молодой Атюшев невольно засмеялся, а Клюква, воротившись с сайками, прыснула со смеху и уронила корзинку на пол.

Веселый доктор, держа ломоть сайки перед молодым Атюшевым, сказал: — Ну, молодой эскулап, позвольте вас маленько пощупать, проэкзаменовать-с эдак малость, ась?

— Извольте, Крестьян Крестьяныч, я повинуюсь вам, — отвечал с улыбкой молодой Атюшев.

Веселый доктор скорчил мину экзаменатора.

— Что есть, государь мой, моровая язва?

— Моровая язва — пестис, есть особого рода болезнь, всех других опаснее, сильно прилипчивая контариоза и, производя наружные знаки на теле, как-то: бобоны, карбункулы, апараксес и малые черные пятна, петехии, скоро и по большей части предаёт смерти, — отвечал молодой Атюшев по-заученному.

— Изрядно, государь мой. Определите источник болезни.

— Источник сея болезни, по примечанию разных писателей, находится в самых жарких местах, в Индии, в Африке, а особенно в Египте. Яд моровой язвы не только прилипает к телам человеческим, но и ко всяким вещам. Сия прилипчивость причиною, что моровая язва в отдаленнейшие и холоднейшие страны переходит и, рассевая чрез прикосновение ядовитое семя, бедственные производит действия.

— А мы откуда сию болезнь получаем?

— Из Царьграда: Царьград и прочие в турецких областях торговые места, по превратному у турков правилу, по которому они все приписывают правлению слепого рока, почти всякий год претерпевают от язвы немалый в людях урон.

— Изрядно, изрядно... Итак, мы и существо сея шельмы, и источник знаем... А где сия шельма пестис зарождается и отчего? Кто ее сеет? Кто пахарь? А плесните мне, барышня, еще. (Это уже к Ларисе.) Ну-с, где она рождается?

— Доселе известны были медицине три главных гнездилища сей язвы, и по оным гнездилищам она и именуется: пестис индика имеет своим гнездилищем Индию, пестис левонтана имеет гнездилище в Малой Азии и Леванте и пестис Египта — в Египте, в Каире. Там он вырастает.

— Изрядно, сударь мой. А где вот эта сайка выросла? А? Откуда она?

— Из Обжорного ряду, барин, — поторопилась Клюква.

Все рассмеялись. Сконфуженная девочка спряталась за дверь.

— Изрядно, изрядно, Клюковка. Обжорный ряд — это своего рода Каир. А где финики растут?

— В Африке, кажется?

— Изрядно, в Африке, где и чума же... А на Таганке вырастет финик?

— Нет, не по климату.

— Изрядно-с. А слон где родится, государь мой?

— В Индии, Крестьян Крестьяныч.

— Преизрядно. А на Кузнецком мосту слон водится?

— Не видал, — юноша рассмеялся.

— Ну, дело. Теперь опять к шельме пестис перейдем... Говорят, что ее к нам занесли из Турции. Ладно! А занесите-ка на Девичье поле финик, примется он?

— Известно, засохнет и не примется.

— Тоже, думаю, тут ему не место. Ладно. Пойдем далее. Значит, все можно занести в Москву: и слона, и финик, да жить-то они здесь не могут, вымрут... Ну-с, еще далее пойдем. Говорят, пестис занесена к нам из Турции вместе с финиками, изюмом да еще там кое-чем... Ну, тут бы ей и капут. Так нет! Она, шельма эдакая, преспокойно растет и множится. Ясно, что попала на родную почву, для нее, подлой, что Индия, что Египет, что Левант, что Москва, все едино... А

отчего вот она, бестия, не растет в Лондоне али бы в Париже?

— Когда ее занесут, Крестьян Крестьяныч, так она и там будет расти, горячо отвечал юноша, — вон в XIV веке, читал нам Шафонский, она всю Италию и Францию прошла, а в Марселе так ни единого человека в живых не оставила.

— Изрядно, государь мой. Это оттого, что тогда Париж был то же, что наша Москва-матушка, а Марсель — все едино, что наш Суконный двор... Для этой шельмы пестис, значит, тогда почва была благоприятна по всей Европе. Это ныне ее оттуда помелом гонят, вот что. А к нам она вон пришла как в свой дом, полной хозяйкой, как вот барышня милая здесь. А отчего? Оттого, что мы — Индия, государи мои, Москва-река — сей священный Ганг, а Яуза с Неглинной — это такие Тигр и Евфрат, что в них рыбадохнет... Вот что, милая девочка! — обратился он вдруг к Ларисе.

Девушка невольно вспыхнула. Атюшев смотрел на веселого доктора серьезно.

— Да, в ваших словах есть доля правды, — задумчиво сказал он.

— Не доля, коллегушка, а полна шапка правды. Я так и Еропкину докладывал, когда мы навещали наших суконщиков да прочих фабричников. Поняли вы эту сказку, милая девочка? — вдруг обратился он опять к Ларисе.

У Ларисы на глазах блестели слезы.

— Поняла Крестьян Крестьяныч.

— То-то же. А то какая-то сорока на хвосте принесла, якобы из Турции некие молодые сержанты привезли к некоей отроковице образок с волосами умершего их друга, и от этих якобы волос пестис по Москве пошла, слоны по Кузнецкому мосту забегали, у Власья целые финиковые рощи расцвели.

— А как же, Крестьян Крестьяныч, няня-то умерла? — робко спросила девушка.

— Няня-то, "Пахонина", милая девочка? А где захворала "Пахонина"? У сторожа церкви священномученика Власья. А кто в семье у сторожа-то был? Суконщики, фабричники, парии наши. Не няня заразила их, а они огорченной старушке на шею пестис повесили, да и сами перемерли... Вот что, девочка хорошая.

Веселый доктор замолчал. Все сидели такие же задумчивые. Мерно щелкал только маятник часов, да изредка с улицы доносились роковые каноны: "Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурей"...

— Эх, кабы я был богат, — со вздохом сказал веселый доктор.

— А что? — спросил Атюшев-отец.

— Я бы еще чашечку испил.

— Так я вам налью, — поторопилась девушка.

— Плесните, милая барышня.

Лариса, вся пунцовая, несмотря на свою смуглоту, задумчиво наливала чай и недоуменно посматривала то на отца, то на брата.

"Житейское мо-о-ре!"...

— Эх, кабы я был богат! — снова вздохнул весельчак.

— А что? — улыбаясь, спросил Атюшев.

— Уснул бы, ух, как уснул бы! Всю ночь не спал, с Еропкиным да с больными возился. А там, к утру, его сиятельство, граф Салтыков, обер-полицмейстера присылает за мной, "по самонужнейшему делу", говорят. Испугался я: "Что такое, говорю, что случилось?" Флора, говорят, занемогла: не ест ничего...

— А кто эта Флора, Крестьян Крестьяныч? — участливо спросила Лариса.

— Собака любимая у графа...

А на улице опять: "Житейское море!.." Веселый доктор посмотрел на часы и быстро встал.

— Ну, прощайтесь со мной, — сказал он, подавая руку хозяйке и целуя ее руку. — Прощайте, друзья. В Индию еду, в Симонов монастырь...

И веселый доктор торопливо вышел. Заехав на минутку к Еропкину, у которого он состоял в личном распоряжении, веселый доктор поскакал в Симонов монастырь. Проезжая мимо Варварских ворот, он с видимым неудовольствием хмурился. С каждым днем толпы черного народа, мастеровых и сидельцев кучились в разных пунктах города все более и более. У разных часовен, у ворот городских, у всех почти икон, которых так много выставлено на всех улицах Москвы ради лобызанья и ставленья воскояровых свечечек с грошовыми кружечными и тарелочными сборами, на всех площадях шло непрерывное всемоление либо благочестивое разглагольствование.

— Вот и приходит к нему, к попу Мардарью, что у Троицы в Сыромятниках, пифик...

— А кто же он, этот фифик, батюшка?

— Не фифик, а пифик.

— Пи-фи-фи-фифик... Ишь, мудреное слово какое!

— Приходит этот пифик к попу Мардарью в образе старца и говорит: "О горе! Горе! Горе великому граду Москве!"

— Ох, Господи! Что же это будет!

— А ты слушай. "Горе, говорит, Москве... Пошлет на нее Бог каменный дождь, и избьет тот дождь велику живу душу, и скот, и птицу, и всех людей даже до сосущих младенцев..."

— Ох, святители! За что же, отец родной?

— А ты не перебивай... "И пошлет Бог, — говорит оный пифик отцу Мардарью, — огненную реку на Москву, и потечет оная река от Чудова монастыря Спасскими воротами до Лобного места, а от Лобного места потечет вниз под гору мимо Свечного ряда, да на Яблочный ряд, а от Яблочного ряда потечет та река

чрез ряды Травяной и Семенной, и Рыбной, а из Никольских ворот потечет та река мимо рядов Ножового и Сайдачного, Шорного и Колокольного, Железного и Монатейного, Кружевного и Ветошного, а Иконный ряд не захватит, потому что иконы там. Да потечет та река мимо рядов Игольного, Кушачного, Овощного, да через ряды Суровской и Сапожный, Зеркальной да Панской, Охотный да Голичный".

— Батюшка! Все ряды переберет! За что же, родной?

— А за грехи, за немоленье.

— Мы ли, батюшка, не молимся! Кажись, денно и ночью.

— Мало, без усердия, не с чистым сердцем.

— Да я тебе, отец родной, ладану четверик поставлю росного, жги, кури темьяном-то Божьим до неба.

— Так-то оно так, да все не то.

— Свеч тебе надобно? Да я тебе свеч поставлю лес целый, бор бором.

— Оно точно.

— А колокол хошь? В тыщу пудов вгоню.

— А может, Бог и смилуетя. Только этот самый пифик говорит отцу Мардарью: "За чужие-де грехи Москва понести должна. Еретик-де сидит у вас в Чудовом".

— Кто же он, отец родной?

— Амвросий, слышь, архиепископ...

— То-то мы слышали, не русской он веры, слышь, а малороссийской, из волох родом.

— Это точно. Не архиерей он Божий, а Оброська-еретик...

— Ох, грехи, грехи!

— Вот нам, церковным попам, служить не велит, народ от веры отгоняет. Вот что пифик сказывал.

— Да растолкуй ты мне, Христа ради, батюшка, кто же этот фифик-то самый? Святой муж, что ли? Не пойму я что-то.



— Все это от темноты.

— Знамо, от темноты. Да где же нам свету-то взять? Только от вас, попов, и светимся.

— А он нас гонит, Обросим-то, архиепископ.

— За что же гонит-то?

— А ради своей корысти, чтоб его церковникам жирнее было... Оттого Бог и мор наслал на нас.

Так "гуляющий попик", недалеко от Варварских ворот, стоя у одной лавки Охотного ряда, проповедовал невообразимые нелепости толстому купчине с мочальной бородой и этими нелепостями ужасал своего доверчивого слушателя так, что того бросало в жар и в холод. Не было басни самой невозможной, но только приправленной непонятными словами вроде "пифик" или "чудо", или "знамение", или "в образе старца" и т. п., которой бы не поверил народ и та из его интеллигенции, которая сидела по Охотным да Сундучным рядам. А теперь эти рассказы вертелись или около "мору", или около будущего "каменного дождя", или же ожидаемой "огненной реки", — и все напряженно слушали ораторов вроде "гулящего попика". А "гуляющий попик" представлял собою олицетворение того неудовольствия, которое с каждым днем росло все более и более среди бедного и заштатного духовенства на архиепископа Амвросия, решившегося изгнать из Москвы "наемное священство". Преосвященный тем энергичнее приступал к этому делу, что видел, как народные скопища, руководимые гулящими попами, способствовали распространению заразы: больные и зараженные выползали на площади, чтобы присутствовать на молебствиях, терлись около здоровых, заражали своим иконоприкладством и лобызанием крестов, и эти иконы и кресты, к которым прикладывались после них здоровые, и разносили по домам и по всему городу смерть.

Пресечь это исторически окрепшее на московской почве зло не было никакой возможности: скорее Москва-река потечет вспять, чем Москва-город пойдет вперед, поступится своими историческими привычками. Да и как искоренить это зло, когда и народ, и сидельцы, и купчины всевозможных родов, и сами попы, все это воспиталось на одном молоке, все это одинаково верит и "пифику" какому-то, которого никто не видел, и "каменному дождю", и "огненной реке", и "жупелу", и "старцам в сонях"! Амвросий, не понимая московского человека, для которого кричание молитвенное и кажделение ладонем до неба, и оглушительное колокольное славословие — та же "широкая масленица", старается, вместе с Еропкиным, вытеснить с улиц и площадей "гулящих попиков" с их блеющей до неба паствой, а вместо этих попиков выползают на торжище настоящие попы, ставленные, хиритонисованные, и литургисают во всю ивановскую, "Мерзкие козлы, и попами их грех назвать!" — кричит с негодованием самовидец московских оргий, Бантыш-Каменский, племянник Амвросия и отец историка. "Мерзкие козлы, оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут же на площадях, с налоями, делая торжища, а не богомолье..."

А между тем Амвросий, ратуя против всесильного Охотного ряда, не видел, что этим он скопляет над собой и над всей Москвой страшный горючий материал. Он не видел, что сера уже клокотала под землей. По улицам уже ходили рассказы о "сонях", о "пификах", о плачущей иконе... Имя "не русского" архиерея начало повторяться чаще и чаще.

— У него, матыньки, келейник, запорожец во какой! Сама видела.

— С косой; мать моя, и табачище жрет.

— Вон у него в Воскресенском брат архимандритом, Никоном называется, настоящий Никонишко-табашник.

— А там, мать моя, к попу Мардарию пифик, сказывают, приходил...

— Какой пифик, родимушка?

— А страшный, коленками назад.

— Владычица-матушка! Укрой от глада и мора!

И стоном стонет Москва от своей глупости. А между тем мор не унимается. Народ начинает озорничать, нет-нет да придерется к чему-нибудь или к кому-нибудь, да в салазки, да за волосы, и пошла потасовка на улице... А уж "чужой" и не подвертывайся: свои собаки грызутся, чужая не мешайся, разорвут.

Вон от Троицы-на-рву, мимо Винных рядов, мастеровые несут покойника. Хмурые лица такие. "Гулящий попик" уже впереди, вытащил из-под монатейки крестик, забыл о "пифике" и уже козлогласует: "Житейское мо-о-ре!.."

В тот же день, возвращаясь из своих разъездов Варварскими воротами, веселый доктор вдруг велел своему вознице остановиться. Что-то на площади привлекло его внимание...

По площади шел солдат, лицо которого особенно резко бросалось в глаза своими густыми бровями. Рядом с ним бежала собачонка и заглядывала в глаза своему спутнику. Солдат, видимо, рассуждал о чем-то, обращаясь к собачонке, а собачонка, казалось, понимала его.

— Да-да! — пробормотал доктор. — Да это, кажись, старый знакомый. Да и собачонка наша.

Солдат поравнялся с доктором, продолжая разговаривать с собакой.

— Эй, служба! Здорово! — закричал доктор.

Солдат остановился, а собачонка разом весело залаяла и приветливо замотала хвостом.

— Али не узнаешь азовца, Рудожелтый Кочет? — улыбался доктор.

— Ах, ваше благородие! Как не узнать вас? — радовался солдат.

— А! Узнал, рыжий!

— Вас-то не узнать! Да будь вы иголка, так я вас в стоге сена сыскал бы.

— Так-так. Вон и Маланья узнала. Ах ты, псина глупая!

Собачонка, казалось, одурела от радости, она так и лезла на дроги.

— Какими судьбами сюда попал с Прута, рыжий? — спрашивал доктор.

— Да с полковником Шаталовым, ваше благородие, из Хотин-города.

— Давно? И как пробрались в Москву?

— Еще летось... Ну, и в карантене проклятом высидели. И Меланья с нами, тоже службу несет.

— А приятель твой где?

— Забродя-то, ваше благородие?

— Да. В Турции остался? Жив?

— Да в карантене с нами был...

Рыжий замолчал.

— Ну, и что ж?

— Тосковал шибко. Заговариваться стал, все Горпину какую-то вспоминал да вишневый садочек, да леваду какую-то там. Бог его знает. Совсем рехнулся человек... Горпина да Горпина... Нашего брата, ваше благородие, эти Горпинки до добра не доведут. Эх! Кусай ее мухи! — и рыжий отчаянно махнул рукой и замолчал.

## Х. СМЕРТЬ ГРЕШНИКОВ ЛЮТА!

Время между тем шло, и чудовище разрасталось все более и более в форме какого-то гигантского тысяченога, бесчисленные лапы которого с каждым днем все крепче обхватывали Москву, словно паук муху. Муха билась в цепкой паутине чудовища и еще более запутывалась.

По глазам веселого доктора, по озабоченности всех врачей медицинской коллегии: Шафонского, Эразмуса, Ягельского, Лерхе и других Еропкин видел, что Москва погибает в лапах чудовища. Надо отрезать этот страшный карбункул России от всего остального государственного тела.

И вот московские медицинские власти к концу апреля приходят к неизбежному убеждению, как слепые к стене, что "предосторожность о сбережении целого государства требует: город Москву, как неминуемое и повсеместное во всех делах с прочими местами имеющей сообщение запереть".

И Москву запирают, заколачивают гробовую крышку, оставив несколько продушин: из всех четырнадцати застав, которыми Москва, как зараженное сердце артериями, могла выбрасывать заразу во все концы государственного организма, оставляют открытыми семь: Калужскую, Серпуховскую, Рогожскую, Преображенскую, Трицкую, Тверскую и Дорогомиловскую.

Но всего более боялись, чтобы чудовище не вырвалось из Москвы по направлению к северу и не помчалось по питерской дороге. А там, там уже нет никому спасения. И вот со стороны Питера протягивается вдоль зараженного сердца России новая цепь: бейся, сердце России, об свои ребра, бейся,

глупое, и не посылай свою зараженную кровь к голове, к мозгу, голова еще не тронута у России. Из Петербурга пришло повеление: всех, кто бы ни ехал в Петербург или другие места мимо Москвы, в Москву не пускать, а направлять, через заставы, окольными путями.

— А ведь укусит себя до смерти, — качал головой веселый доктор, встретившись с отцом Ларисы в госпитале.

— Кто укусит? — спрашивал тот.

— Москва белокаменная...

— Как укусит?

— Да как же! Ее обложили теперь кругом огнями да заставами, словно скорпиона. А ведь когда скорпиона окружают огнем, то он себя убивает своим хвостом. Ох! Убьет себя и Москва своим хвостом.

Но об этом еще никто не думал тогда...

Чтобы воздвигнуть между Москвою и Петербургом неприступную живую стену, непроезжаемую и неперелетаемую, императрица отрядила из Петербурга особые оберегательные кордоны в Твери, Вышнем Волочке и Бронницах, под главным распоряжением генерал-адъютанта Брюса...

— Я вас, граф, за то посылаю туда, — говорила императрица, давая Брюсу это не особенно приятное поручение, — что ваш славный дедушка не предупредил нас в своем "календаре" о постигшем нас ныне несчастье... А сие он должен был сделать по долгу службы, — добавила она, улыбаясь.

Прошел и май, а Москва все звонила в колокола, ожидая каменного дождя да огненной реки.

Прошел июнь, нет каменного дождя. Прошел июль, нет огненной реки. Страшные пророчества "пифика" еще впереди.

Наступил август. Мертвые тела уже валяются по улицам и гниют под лучами знойного солнца.

— Да, погребать уже некому, — мрачно сказал Еропкин. — Полицейские десятские все перемерли.

— Оставим мертвецов погребать мертвых, ваше превосходительство, загадочно сказал веселый доктор.

— Как? — вскинул на него глаза Еропкин.

— У нас, ваше превосходительство, есть много живых мертвецов: ими полна розыскная экспедиция, а равно тюрьмы. Пусть преступники, осужденные на смерть или на каторгу, погребают мертвых. Их следует выпустить из острогов, одеть в одежду мортусов и определить в погребателей!

— Прекрасная мысль, господин доктор! — обрадовался Еропкин. — Они будут рады...

— И не убегут никуда, нельзя теперь из Москвы без виду пробраться.

И целые роты арестантов превращаются в мортусов.

Москва начинает представлять ужасающую картину. С утра до ночи скрипят по городу немазанные телеги, управляемые мортусами в их страшных костюмах и с длинными баграми в руках. Они ищут трупы — да чего искать! они валяются по улицам, по площадям, по перекресткам, около аналоев, над которыми духовенство возносит тщетные моления вместе с обезумевшим от страха народом.

"Ежедневно, от утра до ночи, — говорил очевидец, — тысячами фурманчики в масках и воцаных плащах — воплощенные дьяволы! — длинными крючьями таскают трупы из вымороченных домов, другие поднимают их на улицах, кладут на телеги и везут за город, а не к церквам, где они прежде похоронились. У кого рука в колесе, у кого нога, у кого голова через край висит и обезображенная безобразно мотается. Человек по двадцать разом взваливают на телегу. Трупы умерших выбрасываются на улицы, тайно зарываются в садах, огородах и подвалах..."

Вон через Красную площадь, мимо Лобного места, скрипя немазаными колесами, проезжает огромная фура, на которой виднеется целая гора трупов... Мертвецы, накиданные на фуру, лежат в потрясающих позах: иному страшную позу дала сама смерть, скорчив и перегнув в три погибели, кого неловко зацепил багор мортуса и в картинном до ужаса положении поместил среди других мертвецов; кого, по-видимому, переехала тяжелая фура мортуса и раздавила ему лицо; из другого голодные собаки повырвали кусками почерневшее тело. Головы. Ноги. Руки. Бороды. Молодое и старое, полунагое и нагое совсем тело. Тут же и тот несчастный нищий, который, сняв с мертвеца его губительные ризы, прикрыл ими свои лохмотья — и тут же недалеко умер в чужих, смертоносных ризах. Все это свалено в кучу, как комья грязи, болтается, бьется и трется об колеса, издавая ужасающий смрад. И над всей этой горой трупов высится гигантская фигура страшного мортуса в маске и с багром в руках вместо кнута. Силач должен быть мортус-каторжник! Экую гору навалил трупов. Может, и сам он на своем веку перерезал и перегубил душ столько же, сколько везет теперь.

— Не-не, бисовая шкапа! — понукает он истомившуюся под тяжестью трупов ломовую лошадь.

Скучившийся близ анаоя, стоящего около церкви на площади, молящийся, коленопреклоненный народ при виде колесницы смерти с ужасом расступается. Около анаоя остается один, знакомый уже нам, "гулящий попик" в своей затасканной епитрахильке...

— Услыши ны, Боже! — возглашает он, воздев руки горе, — услыши ны. Боже, спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече, и милостив-милостив буди, владыко, о грехах наших и помилуй ны!

Каким-то стоном отчаяния вздыхают усталые от вздохов груди толпы вслед за этой горькой молитвой. А



страшная телега все скрипит, приближаясь к аналою...

Толпа не хочет глядеть на нее, усиленно молится, глядя на церковь и на аналой. Тут же, в сторонке, стоит и горячо молится рыжий солдатик с красными бровями, и собачка его тут же.

А телега все ближе и ближе скрипит, по сердцу скрипит проклятая ось!

— Не-не, гаспидська шкура! — понукает мортус.

Собачонка с каким-то странным, не то перепуганным, не то радостным, лаем бросается к страшной телеге. Мортус медленно поворачивает к ней свое замаскированное лицо и откидывается назад. Собачонка так и цепляется за телегу. Мортус грозит ей шестом.

— Цыть! Цыть! Бисова цуциня! — кричит мортус. — Не пидходь близко, сдохнешь...

Собачонка начинает визжать от радости и прыгать около ужасной телеги.

— А! Дурна Меланька, пизнала мене... — радостно говорит мортус.

Бежит с испугом и рыжий к телеге с трупами и крестится.

— Забродя! Хохол! Это ты? — нерешительно кричит он издали.

— Та я ж, бачишь.

— Да ты рази жив, братец!

— Та жив же ж, хиба тобі повилазило!..

— Господи! С нами крестная сила! — И рыжий опять крестится. Свят-свят... Да какими судьбами? Ведь тебя, братец, убили, застрелили там...

— Ни, не вбили.

— Как не вбили! Что ты, перекрестись.

Мортус крестится, набожно поднимая свое страшное, черное подобие лица к куполу Василия Блаженного.

— Ах ты, Господи! Да это не нечистая сила. Он крестится. Ах ты, Господи! — диву дается рыжий.

А собачонка, так та совсем с ума сошла от радости: скачет впереди страшной колесницы, лает на лошадь, чуть за морду не хватает, лает на птицу, еле не очумевшую вместе с Москвою, на воздух, скачет на колеса.

— Та возьми ж дурне цуциня, возьми Меланьку, не пускай, а то, дурне, сдохне... Эчь воно яке! Цюцю, иродова дитина! — радуется страшный мортус.

— Да как же, братец ты мой, жив ты остался? — допытывался рыжий, следуя за телегой и боясь подойти к ней. — Ведь тебя застрелили...

— Та ни ж! Москаль погано стриля, не в голову, а в бик попал...

— Ну, да ты ж, чертов сын, умирал, как нас из карантея выпускали. Сказывали, что умрешь.

— Так бачь же ж, не вмер, выкрутився. Не-не-не! — понукал он лошадь, махая багром.

— Ну, а как же ты, братец, попал в черти? Ишь, какая образина! удивился рыжий, глядя на своего бывшего товарища. — Черт чертом, только хвоста недостает.

— Не-не-не! — слышится монотонное понукание.

А тут новая, еще большая толпа молящихся. У аналоя, поставленного среди улицы, стоит старый сгорбленный священник с воздетыми к небу руками. Руки так и падают от усталости и всенародного моления от зари до зари. Из старых очей священника текут слезы и падают на пересохшую чумную. Богом забытую землю. Народ держит в руках зажженные свечи, точно себя самого отпевает. Эти теплящиеся среди бела дня свечи — это так страшно!

А священник беспомощно взывает к небу:

— О еже сохранитися граду сему, и всякому граду, и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и междоусобной брани, и от мора сего всегубительного, Всемилостиве!.. О ежемилостиву и благоуветливу быти благому и

человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев, на ны движимый, и избавити ны от надлежащего и праведного сего прещения, помиловати ны...

"Господи помилуй!", "Господи прости!", "Господи отврати!" — стонет беспомощная толпа.

— Ну, ин сказывай, братец, как тебя в черти произвели, — допытывается рыжий.

— А як!.. Ото як москаль в мене стрилив, я и впав. А вин, бисив москаль, погано стриля, не в голову, а в бик. Я и ожив. А коли встав, вас уже не було там, и цуцинятко пропало... А меня в Москву як злодея отправили та в колодку. А теперь, бач, выпустили нас усих из колодок. От я й став чертом. А я втику!

— Ну, смотри, брат, пропадешь ты с своей Гарпинкой да Украинкой.

— А лучше пропасти на воли, ниж оце так.

И он указал на свою телегу с трупами, на другие такие же телеги, то там, то здесь скрипевших по улицам, на мортусов, волокших к возам свои жертвы, на молящийся в ужасе народ.

— А он бач! — показал мортус по направлению к небольшому каменному дому с закрытыми ставнями.

У ворот этого дома стояли ямские дроги, запряженные парюю взмыленных лошадок. В круглой фигурке, в красном, лоснящемся от жиру и утомления лице рыжий тотчас узнал, что это их веселый доктор толчется у ворот. Тут же, верхом на коне, какой-то офицер и суетившаяся, охающая баба с огромным, словно от дверей ада, ключом.

— Не попаду, батюшка, рученьки дрожат, ох! — охала баба, стараясь попасть огромным ключом-рычагом в висячий у ворот замок, такой величины, что голова бабы казалась меньше его.

— Ну-ну, живей, тетка, может, еще и захватим, — торопил веселый доктор.

— Ох, где захватить! Не стонал уж.

— Ну, ин дай я отомкну! — отозвался стоявший тут же у ворот средних лет мужчина, не то купец, не то сиделец. — Все добро мое и ключ мой.

Баба покорно передала ему ключ. Ключ-рычаг вложен в огромное отверстие замка. Замок-гигант завизжал, щелкнул раз-два-три — замок распался... Ворота, скрипя на старых ржавых петлях, распахнулись, открылся темный с навесами небольшой двор, словно зияющая пасть, из которой пахло смрадом, всякой плесенью и переквашенными, гниющими кожами и овчинами, догнивавшими под душною тенью навеса. Офицер сошел с коня и отдал его докторскому вознице.

— Вот где наша Индия! — поднося к носу кусок камфоры и обращаясь к молодому офицеру, заметил веселый доктор.

Офицер с ужасом всплеснул руками:

— И это миллионер! Из этой норы он ворочал всю Россией!

— Мало того, он своими миллионами держал в руках, что в ежовых рукавицах, Казань и Нижний, Киргизскую орду и всю Сибирь... Он всю Европу завалил своими кожами и русской кожей прославил Россию.

— Так это его кожей гордятся парижане?

— Его, и запах этот же.

Собака, с цепью на шее, худая как скелет, при входе чужих людей слабо залаяла, силясь подняться с земли, но от слабости и от тяжести цепи снова падала.

— Ишь, и ее голодом заморил! — покачала головой баба.

— А тебе бы ее сайками да медом кормить, — огрызнулся тот, что отпер ворота.

— Не медом...

Пришедшие подошли к крыльцу. Дверь оказалась запертою изнутри. Приходилось выламывать ее.

— Эй, таран! Молодцы, сюда, — закричал офицер, хлопая в ладоши.

В воротах показались четыре дюжих солдата. Они втащили во двор ручной таран, на четырех толстых ногах и на цепи дубовое бревно с железной головой. Этим орудием каждый день приходилось вышибать ворота и двери у вымороченных домов. Уставили таран у двери. Баба со страхом отошла в сторону, крестя свое толстое рябое лицо и свою полную, словно у двух холмогорских коров вымя, грудь.

— Сади! — скомандовал офицер.

— Стой, ваше благородие! Дверь испортят, — останавливал тот, что отпер ворота.

— А тебе что до того?

— Как что! Я — наследник ихний буду, Сыромятов...

— А-а! Так что ж! Дверь ломать надо.

— А кто заплатит за полом? — настаивал Сыромятов.

— Ты же, — с презрением отвечал офицер и отвернулся. — Сади, ребята!

Последовал удар, раз... два... три! Трещит дверь.

— Я буду жаловаться! — протестует Сыромятов, топчась на месте. — Это разбой.

— Хорошо, хорошо, любезный, — успокаивает скрягу веселый доктор. Тебе заплатит... он же, — и доктор указал на дверь, которая с треском грохнулась в сени.

Вошли в сени, перешагнув через разбитую дверь. В сенях запах затхлости и гнили. Тронули внутреннюю дверь, заперта. Надо и ее ломать. "Эй, таран!" — командует офицер. "Стой! Что ж это такое будет! Весь дом разобьют..." — протестует Сыромятов. "Сади!" — кричит офицер. "Раз... два... три!" — и эта дверь грохнулась на пол. Темно в доме, хоть глаз выколи. И тут запах гнили и затхлости.

— Отворяй ставни, баба! — командует офицер.

Баба дрожмя дрожит, но повинуется. Взвизгнула задвижка, заскрипел болт, звякнул обо что-то, и железная ставня открылась. За нею другая! Третья... Мрачный дом миллионера осветился, редкое торжество

для мрачного дома! Чинно кругом и строго, как в монастыре; старая мебель в чехлах, словно покойники в саванах, и ничего лишнего, даже удобства.

Идут дальше, в следующую комнату; впереди веселый доктор, за ним офицер с камфорой у носа, словно барышня на балу с букетом; за ним Сыромятов, жадно обзирающий мебель, стены, окна, даже железные, тронутые ржавчиной задвижки от болтов; за Сыромятовым баба, ступающая по полу так, точно она боится провалиться сквозь пол своим грузным телом; за бабою поджарый, редковолосый и скрюченный, как старый, негодный ключ, слесарь, весь пропитанный железною ржавчиной и обсыпанный опилками; в сухой и темной, словно луженой, руке его погромыхивает связка всевозможных ключей.

Подходят к последней двери в угловую комнату, в контору, кассу и спальню. Она заперта внутренним дверным замком, и не видать бородки ключа в отверстии, не торчит ключ, значит, вынут...

Чуется уже запах... Это не кожи, не затхлость.

— Фу, тут мертвячина! — говорит офицер.

— Да... это кровь и пот русского народа, превращенные в миллионы... Они смердят, — нагибаясь к замочной скважине, замечает веселый доктор.

Лихорадка начинает бить Сыромятова-наследника. А что, как он оживет да погонит всех и его, наследника...

— Отпирай, чего стоишь! — судорожно обращается он к слесарю.

— А что пожалуете за труд? — ежится тот.

— Это не мое дело, а вон их (и скряга показывает на доктора и офицера).

— Али пятака жалко?

— Жалко! Мне и полушки жалко, потому не мое дело, не я запираю дверь, не я и плачу.

— Ну, отпирай! — приказал офицер.

Ключ щелкнул. Дверь подалась, отворилась. Темно там, но оттуда так и пахнуло трупом! "Отворяй ставни". Баба крестится, дрожит и не идет. Доктор сам входит в полутемную комнату и отворяет ставню. Солнце снопом лучей ворвалось в этот мрачный угол и, кажется, само задрожало, отразившись на чем-то блестящем. И все стоявшие в дверях содрогнулись.

Да и нельзя было не содрогнуться. У стены, у огромного железного сундука, раскрытого настежь, стоял на корточках человек в одной ситцевой рубашке, запустив по локоть почти синие руки в груды золота, которым наполнен был громадный сундук. Голова же этого человека опрокинулась назад так, что только глаза, тусклые, остекленелые, смотрели через лоб и брови, да торчала мочальная борода.

Это был мертвец, засунувший руки по локоть в золото, миллионер Сыромятов, под железной рукой которого гнулась, как олово, кожевенная торговля целой России и Европы. Коленками и босыми ногами он, окостенелый уже, упирался в ветхий матрац, брошенный у сундука с золотом. Умирая, он, как видно, приподнялся со своего мертвого ложа, отпер свои сокровища, залез в них руками, да так и окошел.

Всматриваясь в мертвое лицо, веселый доктор, несмотря на искажение ужасного лица, узнал покойника. Он видел его недавно у лавки близ Варварских ворот и еще заинтересован был его расспросами у "гулящего попика" о каком-то "пифике". Это действительно был тот купчина, который, опасаясь каменного дождя и огненной реки, грозившей всем рядом, в том числе Голичному и Охотному, где в подвалах хранились его миллионы в кожах и юфти, большею частью от чумной скотины, обещал "отвращения для огненной реки" подарить Богу целый четверик росного ладану, чтобы курево от него дошло до самого неба, выставить и зажечь целый бор свечей в

косую сажень, чтобы небу было жарко, повесить колокол на церкви, вогнать колоколище в тыщу пудов, чтобы звонили до самого Бога и "переглушил бы птицу в небе, зверя в лесу, рыбу в Москве-реке и в самом Кияне-море". И теперь этот богач был мертв, не успел ни насытиться, ни насладиться своими сокровищами.

Все в ужасе смотрели на страшного покойника. Закинутое навзничь лицо, раздувшееся и почерневшее, с разинутым в предсмертных муках ртом и ощеренными, как у собаки, зубами, казалось, грозило смертью всякому, кто решился бы подойти к сундуку, к этой разверстой, тлетворно дышащей пасти богатства. Один наследник жадно впился глазами в кучи золота и словно окаменел.

Доктор приблизился к мертвецу. Наследник следил за его движением, как бы боясь: вот-вот засунет руку в золото, вот-вот червонцы сами поскачут ему в карман!

Доктор покачал головой.

— Да, язвенные знаки, смерть очевидна... А давно, тетка, занемог он?

— Да третьеводни, батюшка... Помер это кум евоный, Гурьян Деич, перевалкою помре, так наш-то выпросил у хозяйшки его, у кумы, на память жилетку после покойничка, чтобы, значит, новой не покупать, скуп был добре. Да с той-то поры и перемогаться стал. А там как заперся, чтоб, значит, никто к нему не взошел и добра бы его не взял корыстью, с той минутой я и не видала его.

— То-то. Не видала, а поди, чай... — огрызнулся наследник. — Ее бы, ваше благородие, обыскать надоть, да и нору ейную перешарить. Она, поди, тыщи перетаскала, она жила с покойничком-то...

Доктор и офицер посмотрели на нее.

— Жила, жила, кормильцы. Я ему, покойничку-то, за жену законную была, и более за стряпку, хошь он, по скупости, и не велел ничего стряпать, а с лотка



кормился больше да у парней у своих, у сидельцев, отымывал, бывало, чтобы невпору не ели, и сам, покойник, съедал.

— Так ты его законная жена? — спросил офицер.

— Законная, батюшка, законная, только не церковная, в церкви не венчана, а гулящий батюшка нас с ним, с покойничком, вокруг святого платка обвел и благословил жить вместе. Оно так-то дешевле обходилось для покойничка.

А покойничек страшно глядел и щерился на всех, как бы продолжая копать в золоте.

— Да, жила и, поди, тыщи перетаскала, — настаивал на своем наследник.

— Где, батюшка, перетаскать! Я не с ним жила, а в стрелецкой избе. А коли и на ночь к себе меня покойничек, бывало, брал, так запирали с собой на ключ, а утром всю донага обыскивали, чтобы-де чего не утащила.

Доктор приказал позвать мортусов, чтобы вытащить мертвеца, а дом запечатать и поставить к нему караул.

— Как же, ваше благородие, — протестовал наследник, — надоть и сундук запереть да запечатать, да и опись всему составить. У него еще...

Наследник потупился и замолчал. Рысьи глаза его удали на пол, на какую-то железную скобу. Доктор тоже посмотрел на пол: железная скоба обнаруживала, что в этом месте пол подымается.

— А что это, тетка? — спросил он.

— Творило, батюшка, творило.

— Для чего оно?

— Кладовая там, под полом.

— И тоже, видно, сундуки? Деньжищи?

— Сундуки, батюшка. Я их к светлому Христову воскресенью всегда мывывала.

Доктор только развел руками. Офицер нетерпеливо стучал саблей об пол. Слесарь стоял у двери и ожидал

заработанного пятака... Напрасно ждал! Пятака ему никто не отдаст.

Вошел мортус с багром. "Тащи его", — распорядился офицер. Мортус зацепил мертвеца крючком за рубаху, гнилая старая тряпка изорвалась. "Старенька добре рубаха-то", — поясняла баба. Зацепили крючком за тело, вонзился крюк в мертвеца, дернули... Нейдет, только страшно откачнулся от сундука, руки не лезут из тяжелого золота... Еще дернули, труп повалился на пол, стукнулся головой, что-то зазвенело, словно кандалы на ногах колодника.

— Что это, цепи на нем? — с ужасом спросил офицер.

— Цепь, батюшка, цепь, — подтвердила баба, пригорюнившись.

— Цепь! Зачем?

— Приковывал себя цепью, батюшка, покойничек к сундуку-то этому. Любимый, сказать бы так, сундук евоный был.

— Зачем же приковывал?

— А все боялся, батюшка, чтобы не украли... Молодым-то он, сказывал, болен был, что вот по ночам другие ходють, во сне, полунатики, что ли, называются. Так и он, покойничек, все как бы-де ночью от добра своо не ушел полунатиком.

— Н-ну! Чадушко! — не вытерпел доктор. — И себя, и собаку к своему добру приковывал, н-ну.

— Сам боялся, что убежит от своего золота, — пояснил офицер. — Вот каналья!

Доктор вынул из висевшего у него через плечо вощаного мешка вощаные перчатки, надел их на руки, нагнулся к мертвецу и ощупал у его пояса замок. Потом, взяв у слесаря отвертку, отпер закованного мертвеца:

— Тащи...

— Ушел от своих богатств. Утащили-таки! — с горечью и силой сказал молодой офицер. — О, проклятое золото!

Доктор велел багром захлопнуть крышку сундука и приказал слесарю запирать...

— А я? Я не позволю! — упирался наследник.

— А я тебя велю арестовать! — крикнул на него офицер. — Арестую именным повелением как ослушника высочайшей воли. Запирай.

Заперли логовище. Приложили печать. Поставили часовых у дверей и у ворот.

А миллионер, лежа ничком на телеге мортуса, грозно глядел на небо, не озираясь уже ни на свой дом, ни на свои богатства. Смерть грешников люта! Не помогли ни четверики ладану, ни боры свечей, ни колокола...

# I. ГРОЗА НАДВИГАЕТСЯ

Москва, наконец, выбилась из сил. Выбились из сил московские власти, выбился из сил и несокрушимый ничем народ... А грозное чудовище все более и более забирало силу, росло, ширилось и крепло, питаясь в день тысячами трупов, запивая свою страшную трапезу рекою слез, с каждым часом все пуще и пуще обезумевая в смраде гниющих тел, в чаду курящегося по церквам и по площадям целыми ворохами ладану и целыми лесами горящих для умилоствления гневного Бога свечей.

Не унимается мор! Не унимается, а все свирепеет.

Сбился с ног и Еропкин. Один веселый доктор катается шариком в этом аду, благодаря своей непостижимой живучести, которую вымолили у Бога своему любимому лекарьку солдатики в пылу жарких битв с проклятыми турками и под стоны своих товарищей на перевязочных пунктах.

— Ваше превосходительство, вам поберечься надо, — тихо говорил он Еропкину, безмолвно склонившему свою давно не пудренную, давно усталую и давно не спавшую голову на руки. — Поберегите себя...

— Что мне беречь себя, когда Москва пропадает! — упавшим голосом отвечал Еропкин.

— Для Москвы, для всей России надо поберечься.

— Ох! Пропало все...

— Нет, еще не все, ваше превосходительство.

А чума уже в самом доме Еропкина. Да и как не быть ей там! Толпы просителей запружают его двери, передние, улицы: кто кричит, что гробов не хватает в городе, что заборы ломают на гробы, лес весь перевели; кто просит могилу, весь дом вымер, а могилы копать некому...

В доме Еропкина мрут уже писаря от корпенья над чумными рапортами да доношениями. Мрут вестовые солдаты от беспрестанного рысканья в чумной атмосфере города с приказами своего генерала.

Императрица сжаливается над ним и назначает ему в помощники сенатора Собакина. Но какая тут помощь, когда Бог отвернул свое лицо от Москвы!

Чума забирается к преосвященному Амвросию, она уже в Кремле, в Чудовом монастыре.

В легком подряснике с черными, распущенными по плечам густыми волосами, беспокойно ходит по своей обширной келье Амвросий, погромыхивая четками. Утро августовское, раннее еще, а на дворе зной и духота невыносимые. Душно и в келье у преосвященного. На столе лежит раскрытая толстая книга латинского письма. Книга раскрыта на том месте, где в заголовке статьи крупно напечатано: *Restis indica*. Рядом с книгой стоит архиерейский клубук.

Архиерей подходит иногда к книге и заглядывает в нее, перелистывает страницы.

— *Carbuneuli...* угольки... *pestechide bubones*, — говорит он сам с собою. — Хороши угольки!

Белое, чистое, с южной смуглотой лицо Амвросия подергивается улыбкою, но глаза смотрят грустно. То он подойдет к окну, заглянет на бродящих по двору голубей, то опять заглянет в книгу.

— А жары все не спадают. И птице жарко... *Contagionis* — это прилипчивость язвы хуже всего. Здешнее духовенство не понимает этого, оно думает, что дары отгоняют заразу... Да, отгоняют только от души язвенной, а не от тела, язвою пораженного. Бедные невегласи!

Амвросий задумывается, откидывает назад волосы и останавливается перед висящим на стене портретом в митрополичьем одеянии. Строгое и в то же время грустное лицо, как живое, смотрит со стены.

— Ты счастливее меня был, великий человек, — шепчет Амвросий, — тебе не приходилось тосковать о Киеве, о любезной матери-Украине. Ох, тяжело так... Научи меня, великий святитель!

Но Петр Могила ничего не отвечает со стены, он все сказал при жизни.

Стуча сапогами на железных подковах, в келью входит запорожец с косою и в послушнической рясе. Амвросий вздрагивает от неожиданности.

— Ты точно жеребец в конюшню вламываешься, — кротко, улыбаясь доброй улыбкой, замечает Амвросий.

— Там пришли до вас, владыко.

— Кто такой? (Запорожец переминается и молчит.) Кто пришел? А?

— Та щось воно таке трудне... (Опять переминается.)

— Да ну же, говори, рохля...

— Таке воно трудне, владыко, що й не вымолвлю, — и запорожец даже каблучищем толкнул от трудности.

— Ну, зови уж, добро.

Сапожищи опять затопали по пустым кельям. "А добра дитина, с ним я не так одинок тут, да и речь родная звучит в простых устах его..." — думается архиепископу.

— А! Отец-катехизатор! — радушно улыбается Амвросий входящему в келью священнику в темно-малиновой рясе. — Ну, что в городе, отец-катехизатор?

— О! В городе страх и трепет, владыко. Не приведи Бог видеть, неизглаголанное нечто творится, ужаса преисполненное.

— Спаси, Господи, люди твоя... спаси, — как бы машинально повторял Амвросий.

— Отвратил Господь лицо от людей своих.

— Не говори этого, отец-протоиерей. Теперь именно, может быть, сердце Господне яко воск от огня таяй. Теперь только молятся люди, стучатся в сердце Господне... — тихо сказал Амвросий.

— Молиться, владыко, некому, некому в сердце Господне стучаться.

— Как некому?

— Иерейство погибает, почти все попы повымерли или болеют.

— Разве не исполняется мое "наставление"? — озабоченно спросил Амвросий.

— Исполняется, ваше преосвященство.

— У всех ли церквей оно вывешено при входах?

— Надо полагать, владыко, у всех... Сам я видел, проезжая сюда, как народ толпится около них, слушая чтение грамотных.

Амвросий беспокойно заходил по келье. Опять глаза его с какой-то тоской упали на портрет Петра Могилы, потом перенеслись на кроткий лик Спасителя в терновом венце, как бы следившего за ним из глубины киоты.

— Он смотрит на нас, — указал Амвросий на киоту. — Ему, молившемуся ночью о чаше, понятны наши скорби... Прискорбна, прискорбна душа наша до смерти.

Отец-катехизатор перенес глаза на киоту. Да, смотрит, кротко смотрит божественный лик. Он все видит.

— Да, — как бы отвечая на мысли отца-катехизатора, сказал Амвросий. Он видит, что чаша еще не переполнена.

— Переполнена, владыко, через край изливается!

У катехизатора до сих пор из головы не выходит потрясающая душу картина, которой он был свидетелем. Сегодня утром приходит к нему студент университета, один из любимейших слушателей, только что возвратившийся, после вакаций, из деревни к началу лекций. Какие тут лекции! Все профессора разбежались, университет заперт, а сторожа мрут, скоро некому будет и университет стеречь, одни собаки остаются, да и те вон сегодня забрались в библиотеку и

выволокли оттуда труп библиотечного сторожа и с голоду пожирали его. Приходит к отцу-катехизатору студент и умоляет его поспешить к нему на квартиру с святыми дарами напутствовать хозяев квартиры, где он жил, больны-де все опасно... Идет отец-катехизатор за студентом, торопится, приходит на двор... Окна открыты, потому душно в городе, дышать нечем, и мостовые и железные крыши домов накалены, да еще смрад такой стоит над городом, дым от кадил и свечей, и курева. Входят в сенцы, на полу ничком, крыжом каким-то, распростерт труп, это хозяин: не дождался напутствования, отошел амо... камо? О, Господи! Перешагнули через покойника, покойник лежал ничком, а то хоть и кверху носом, до страшного суда. А за что судить? Перешагнули через покойника, торопятся в горницу, там, слышно, ребенок плачет. Входят. На полу, разметавшись крестом, с откинутой назад головой и растянувшейся на полу на аршин расплетенною косою, лежит молодая женщина, не лежит, а как-то брошена с размаху кем-то, хлобыснулась об пол и лежит, сорочка разорвана на груди, верно в муках, в жару смерти. Голые груди торчат, словно вздулись, и к подмышкам посинели. А к этим мертвым грудям льнет ребенок, карабкается, цепляется ручонками, припадает ртом к окоченевшим сосцам, сосет их, а молока нет, какое там молоко? И ребенок с отчаяния закидывает назад головенкой, плачет, ничего не понимая. И тут же, тоже ничего не понимая, на стол взобрался петух, балованный петух, кормили его из рук, вскочил в домик через открытое окно, взобрался на стол и орет во все горло: "Кикареку!"

Да, переполнена чаша, через край льется...

Амвросий все ходил по келье, все поглядывал на Петра Могилу да на лик Спасителя.

— А что у вас в университете, отец-протоиерей? — спрашивает он, как бы думая о чем-то другом.



— Мерзость запустения, владыко. И там смерть царствует, в царстве науки.

— Нет лекций?

— Нету, владыко. И куратор бегу яся... Одни студенты. О! Богом благословенная младость!

— Что, отец-протоиерей? — И глаза Амвросия блеснули отблеском молодости, вспомнилась академия, лавра, Днепр, вечерние песни "улицы", откуда-то доносившиеся до лавры. И этот дорогой, не умирающий голос за лаврскою оградой:

Дадут мени сажень земли

Та четыре дошки.

Свыщенники, диаконы

Повелят звонити

Тоди об нас перестанут

Люди говорити...

Перестали говорить, да, правда. Люди не говорят, так память горькая не переставала...

Амвросий опомнился.

— Что молодость, отец-протоиерей?

— Да я, владыко, говорю о наших студентах... Теперь вот университет закрыт, начальство разбежалось, а они сойдутся-сойдутся утром на дворе, толкуют там себе, галдят, об его превосходительстве Петре Дмитриевиче Еропкине с похвалою отзываются да о штаб-лекаре Граве. Да и то сказать, ваше преосвященство, чего требовать от графа, ветх он вельми, батюшка, в гробу обеими подагрическими ногами стоит. Так вот эта молодежь, говорю, погалдят-погалдят на дворе, а смотришь, и пошли по городу отыскивать больных да голодных, да ухаживают за ними, пекутся о них истинно с христианской любовью. Да ко мне и бегут, веселые такие иногда: "Отец-катехизатор! — говорят, — поставьте такому-то орtime на экзамене, он-де пятерых от смерти отнял..." Ну и на сердце легче станет, взираючи на них.

Опять стучат сапожищи по передней келье, опять входит запорожец-служка.

— Ты что, хлопче?

— Отец-протоиерей приехали.

— Какой протоиерей?

— Не выговорю, владыко.

— Из Архангельского собора?

— Не скажу.

— Так какой же? — И Амвросий, и отец-катехизатор не могут удержаться от улыбки. — А? Какой?

— Русявенький такой.

— А! Протоиерей Левшинов... Проси.

Запорожец снова загрохотал чеботищами. Входит протоиерей Успенского собора и Святейшего правительствующего синода, конторы член, отец Александр, по фамилии Левшинов. Невысокая фигурка отдает ловкостью, юркостью. Серые глазки очень умны, очень кротки, когда смотрят в другие глаза, и немножко лукавы, когда смотрят кому в спину или читают Евангелие о мытаре...

— Все мои распоряжения, отец-протоиерей, исполнены по конторе Святейшего синода? — спрашивает Амвросий, благословляя гладко причесанную головку протоиерея. — Я ждал рапорта.

— Исполнены, ваше преосвященство.

— А "наставления" мои к пользе послужили?

— К пользе, владыко, несумнительно (глаза протоиерея убежали, куда-то убежали, должно быть, к Петру Могиле на портрет). Только не все тот бисер ценят по цене его...

— Да? Кто же?

— Свињи, владыко, попирают бисер.

— Как же так, отец-протоиерей? — с удивлением спросил архиепископ.

— Молва в народе бывает, — сказал протоиерей как-то загадочно. Читают наставления у церквей, а

невегласи, подлая чернь, толкуют: "Попам-де не велят причащать нас святыми дарами", "Не велят-де младенцев крестить попам", "Вместо-де попов повитухи крестят и погружают в святую воду, а власов-де совсем не остригают и мирром не мажут".

Слушая отца Левшинова, Амвросий глубоко задумался... Он действительно сделал это спасительное распоряжение, ожидал от него пользы, спасения всего молодого поколения, да и духовенства от заразы. И что же из этого вышло? Ропот в народе, младенцев-де перестали крестить, к язычеству возвращаются. О! Какое страшное зло, неведение народа! — горько думалось опечаленному архиепископу.

В самом деле: спасительное "наставление" Амвросия, "данное священникам, каким образом около зараженных, больных и умерших поступать", и вывешенное при входах в церковных, породило в народе нелепые толки и послужило завязкой к страшной кровавой драме, которой никто не мог предвидеть, никто, кроме разве протоиерея Левшинова, который так хорошо знал старую Москву, Москву купеческую, сидельческую и народную, знал всю изнанку этой старой московской души...

\* \* \*

- Эй, паря! Что таютка вычитывают? Али про мор?
- Нету, про попов, архиреев.
- Ой! Что так?
- Детей, слышь, чтобы напредки не кстили...
- Что ты? Видано ли!
- Повитух, чу, попами делают.
- Да что ж, братцы! Конец свету переставленью, что ли! Тут мор, а тут на поди!
- Да ты не ори! Гашник лопнет.
- Да я не ору! Дьявол!

— Лапти в рот суешь. А ты слухай! Эй, Микиташка, братенок! Катай сызначала, вычитывай всю дочиста, до нутревь... Ну! Ежели-де случится, звони по верхам! Лупи, чтобы всем слышно было.

И Микиташка, приподнявшись на цыпочках на церковном крыльце и водя заскорузлым пальцем по строкам, "звонит по верхам", "лупит", читает "наставленья" Амвросиево: — "Ежели случится беда в опасном доме больной и будет требовать для исповеди отца духовного, то онаго и живущих с ним людей исповедовать с такою предосторожностью, чтобы не только до больного, но и до платя и прочего при нем находящегося не прикасаться, а ежели крайне будет опасно для священника, то оному сквозь двери или чрез окошко больного исповедовать, стоя одаль, а причащать святыми дарами токовых сумнительных и опасных людей, убегая прикосновения, чтобы не заразить себя, удержаться"...

— Удержаться! Слышь ты, не причащать-де!

— Что ты: али и впрямь, паря?

— Верно, бумага не врет, напечатано.

— А исповедовать, слышь, через окно али бо через дверь...

— Да это конец света, робятушки!

— Ох, горюшко наше, матыньки! И на духу-то не быть перед света переставленьем...

Бабы в голос воют. Парни в волосы друг другу вцепились из-за диспута о том, как исповедовать велят, в дверь или через окно. "В дверь!" — "В окно!" — "Врешь!" — Бац, трах-тарарах, и пошел ученый диспут на волосах.

— А ты ин вычитывай, Микиташа, о повитухах-то что пишут?

— Читай, отец родной... А вы, бабы, ближе, тут про вас писано.

— Ох, матушки! Умру со страху, коли обо мне. Ой-ой!

— А ты не вой, тетка, загодя. Сади dalej, Микиташа!  
И Микиташа "садит" далее:

— "Ежели случится в опасном доме новорожденному быть младенцу, онаго велеть повивальнице из опасной горницы вынести в другую и при крещении велеть оной же погружение учинить, а самому священнику, проговоря форму крещения, окончить по требнику положенное чинопоследование, острижением же власов и святым миропомазанием, за явною опасностью, удержаться".

— Слышь ты! Опять, чу, "удержаться". Не ксти робят!

— Повитуха, чу, окунает в купель... Слышь, тетка?

— Ох, батюшки, как же это!

— А власы — ни-ни! Не замай, ребенка не стриги и мирром не мажь, поясняет толкователь из раскольников. — Сущие языцы! Ишь, до чего дожили православные! А кто виной?

— Кто, батюшка?

— Лжеархиерей-еретик, новый Никонишка.

— А ты чти, Микита, чти до конца, на нет!

— "Ежели случится в таком опасном или сумнительном же доме мертвое тело, то над оным, не отпевая..."

— Кормилицы, не отпевать! Касатики!

— Цыц! Не вой!

Баба умолкает.

— "Не отпевая и не внося в церковь..."

— Ох, смерть моя!

— Не вой, сказано тебе! Ушибу!

Баба молча хлюпает.

— "...и не внося в церковь, — продолжает Микита, — велеть отвезти для погребения в определенное место того же самого дня".

— Ни отпевать, чу, ни в церковь не вносить, слышишь!

— Да что же мы, собаки, что ли, что нас и в церковь не пущать, братцы?

— Али церковь — кабак? Вон и кабаки запечатали, и бани запечатали, а теперь на! Уж и храмы Божьи печатают. Да что же это будет, православные?

— Али впрямь они шутят? Али на них и суда нету.

Где-то слышится барабанный бой, глухо так стучит барабан, зловеще... Это не марш, это что-то худшее...

— Чу, братцы! Барабан!

— Али набат? Где же пожар, православные?

— Али сполох? Что же не звонят? Братцы! На колокольню!

— Стой! Надеть узнать, какой сполох.

А барабан все ближе к церкви, к толпе. Виднеется конный, машет белым платком, вздетым на обнаженную саблю.

Толпа обступает офицера и барабанщика. Офицер делает знаки, барабан умолкает. Толпа ждет: это уже не прежняя овцевидная толпа. У этой толпы злые глаза.

— Долой шапки! — кричит офицер.

— Что шапки! Нам не жарко-ста! Не пили.

— Долой, мерзавцы! Царский указ читать буду.

— Указ! Указ! Долой, братцы, шапки!

Шапки снимаются.

Офицер развернул бумагу и стал читать громко, медленно: — "Указ ея императорского величества, самодержицы всероссийской, из правительствующего сената, объявляется всем в Москве жительствоующим. Известно ея императорскому величеству стало, что некоторые обыватели в Москве, избегая докторских осмотров, не только утаивают больных в своих жительствовах, но и умерших потом выкидывают в публичные места. А понеже такое злостное неповиновение навлекает на все общество наибедственнейшие опасности, того для ея императорское величество повелевает отчески, по

именному своему указу, строжайшим образом обнародовать во всем городе, чтоб отныне никто больше не дерзал на такое злостное и вредное ея императорского величества законов и уставлений похищение. А есть ли, не взирая на сие строгое подтверждение, кто в таком преступлении будет открыт и изобличен, или же хотя и в сведении об оном доказан, таковой без всякого монаршего ея императорского величества милосердия отдается вечно в каторжную работу".

Толпа как-то разом вздохнула, широко, глубоко, всею наболевшей грудью, как-то всенародно вздохнула.

— Мертвых, чу, утайком держут! Кто их держит! Вон мертвый крыжом лежит, суди его! Вон его судья!

И сотни рук указали на приближавшуюся фуру с мертвецами и на багор мортуса, который зацеплял этого лежавшего крыжом. Мертвый корчился на багре, он был еще жив. Корчился словно рыба на удочке.

Офицер молча поворотил коня.

## II. "БОГОРОДИЦУ ГРАБЯТ!"

Как ни ужасна была картина, которую представляла чумная Москва в течение последних двух моровых месяцев, августа и начала сентября, но никогда еще не глядела она так зловеще, никогда еще лица наполовину прибранной смертью, но все еще кишмя кишасей по улицам и площадям толпы, у которой, казалось, совсем лопнуло терпение, одеревенело с отчаяния сердце, помутился от горя и страха рассудок, раззуделась на какого-то невидимого врага изнывшая, изболевшая душа и руки, никогда лица эти похуделые, осунувшиеся, словно обросшие чем-то мрачным, не носили еще на себе печати той страшной решимости на что-то еще небывалое и ужасное, с какою лица эти 15 сентября 1771 года прислушивались к какому-то глухому, как волны, рокошущему говору и гаму, стоном стонавшему над всею, запруженною народом, площадью у Варварских ворот. Это море какое-то колыхалось и бурлило, и все больше и больше прибывали его волны, все выше и выше поднимало бурный прилив...

На ногах вся уцелевшая от мора Москва — много еще уцелело, хоть и много померло. Москву не скоро всю передужишь. Вон она вся высыпала. Да и как ей не высыпать! Церкви пусты, дома пусты, одни разве умирающие да мертвые в них валяются; все лавки, амбары, погреба, кабаки, трактиры, бани, присутственные места, рынки заперты; все дела остановились, торги стали, вся машина развалилась.

Тут и фабричные, и мастеровые, и дворовые — господа раньше разбежались по деревням, — и солдаты, и разносчики, и приказные из запертых присутственных мест, и купцы, и мещане, и сидельцы,



гулящие и не гулящие попы и дьячки, чернецы и черный народ. А бабы, а дети!

Все валят к Варварским воротам. Над воротами тускло поблескивает старая-престарая икона Боголюбской Богородицы. К воротам, под самую икону подставлена пожарная лестница. На лестницу взбирается народ с зажженными свечами и лепит эти свечи к иконе. Целый лес свечей налеплен, некуда больше лепить, — так лепят к карнизам, к стене, к кирпичам.

А под лестницей, на опрокинутом ларе, подняв руки вверх, кто-то громко причитывает:

— Порадейте, православные. Богородице на всемирную свечу! Порадейте! Каменный дождь на Москву идет! Огненная река течи будет! Порадейте, порадейте на всемирную свечу! Порадейте, православные!

А тут же у ларя неугомонный "гулящий попик", которого и чума не брала, рассказывает православным о "чуде":

— Слушайте, православные! Чудо бысть некое, знамение преужасное. В сию ночь рабу Божию Илье (и попик указал рукою на того, кто сидел на ларе и кричал "порадейте!") явися Боголюбская Богородица, вот эта самая Матушка (и попик показал на верх ворот, на икону, облепленную свечами), явися и глаголет: приходил-де ко мне Сын Мой, Господь Исус Христос и поведал Мне, яко матери своей, тако: поелику-де Тебе, Боголюбская Богоматерь, вот уже тридцать лет никто в Москве ни молебна не пел, ни свечи не поставил, то за сие-де пошлю Я на Москву каменный дождь. И Матушка-Богородица, жалеючи нас, православных, умолила сына своего Христа и Бога нашего не посылать на Москву каменный дождь, а нагнать на нас трехмесячный мор. Вот, православные, сия просьба Богородицы и исполняется — великий мор посетил Москву. Помолимся

же, православные, Владычице нашей Богородице Боголюбской, пущай Она, Матушка, замолит за нас у Сына своего Христа и Бога нашего! Порадейте Ей, Матушке, на всемирную свечу!

— Порадейте, православные! — взывает тут же стоящий огромный солдатина с седою головою и длинною седою косою. — Порадейте! Мне ноне и поп в церкви Всех Святых на Куличках сказывал про это чудо. Порадейте, православные!

— Порадейте! — подхватывают сотни голосов. — Не дайте всем помереть лютою смертью!

Народ неудержимо прет к воротам, к лестнице, цепляется за нее, карабкается вверх. Иные обрываются и падают. Тот охает от падения, иной орет благим матом, потому что у него волосы вспыхнули от упавшей с карниза свечи, голова горит, борода вспыхивает, рубаха загорается. Другой стонет от боли, больной, чумной, притащился к воротам, чая спасенья от чудотворной иконы. Ад сущий кругом!

Попы, побросавшие сорок сороков московских церквей, забывшие о своих требах, покинувшие свои приходы, тоже высыпали на это страшное всемоление, расставили везде свои аналои, позажгли свечи, напустили облака ладану, так что солнце помрачили, и всенародно молятся, оглашают воздух невообразимую, но ужасом за душу хватающею разноголосицей.

— Порадейте, православные, на всемирную свечу! — стонут тысячи голосов во всех концах.

— О всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, милости Божии и помощи требующей! О исцелении в немощах лежащих! — взывает над аналоем усталый голос соборного дьякона, который прежде никогда не уставал.

А тут священник, у которого вымерла вся семья: дети, жена, родные, рвет на себе волосы у другого анаоя и вопит истошным голосом:

— Проклят буди день, в он же родихся аз, проклятый, ночь, в ню же породил мя мати моя! Проклят буди муж, иже возвести отцу моему, рекий: родися тебе отрок мужеск, и яко радостию возвести его. Да будет человек той, яко же гради, яже преврати Господь яростию своею, да слышит вопль заутра и рыдание во время полуденное, яко не уби мене в ложеснах матере моея, и бысть бы ми мати моя гроб мой! О!

— Батюшка! Подь домой, кормилец! — тащит за рукав этого безумца какая-то старуха, но безумец нейдет, прокликает и себя и день своего рождения, и ночь своего зачатия.

— Порадейте, порадейте на всемирную свечу, православные! — стонет площадь, стонет вся Москва.

Да, так с ума сойти можно. И Москва сошла с ума.

Вон тащут чумного к воротам, втаскивают по лестнице к иконе, "чтоб приложиться, касатик", а у касатика голова с плеч валится.

Еропкин, узнав об этом обезумлении всей Москвы, поскакал было с веселым доктором и с обер-полицмейстером к Варварским воротам, но скоро увидел, что море вышло из берегов и не остановить ему этого моря своими силами, нечеловеческие тут нужны силы.

И он велел везти себя в Чудов монастырь, к Амвросию. Он чувствовал, что у него не только руки и ноги холодеют, но и в сердце холод, в душе холод и страх.

— Пойдите... Пойдите, пане! — удерживал его в передней келье монастыря запорожец-служба.

— Чего тебе надо? — удивлялся Еропкин, отстраняя руку плечистого запорожца.

— Вони, пане, молятся... вони плачут.

Действительно, когда Еропкин вошел в келью Амвросия, архиепископ стоял на коленях перед ликом Спасителя и плакал.

— Простите, ваше преосвященство!

Амвросий встал с колен и обратился к Еропкину свое заплаканное лицо. Судя по глазам, Еропкин понял, архиепископ много и горько плакал. Ему стало страшно.

— Простите. У Варварских ворот...

— Знаю, знаю, ваше превосходительство, — подавленным голосом перебил его Амвросий. — Мрак и страх распудиша овцы моя... А я, пастырь, не соберу их.

И архиепископ, упав головой на стол, заплакал. Никогда не видел Еропкин, как плачут, особенно такими горькими слезами, архиереи, и стоял в изумлении. Наконец, Амвросий приподнял от стола свое бледное лицо и широко перекрестился, обратясь к образу Спасителя.

— За них я плачу, за овец моих! — сказал он. — Это панургово стадо.

— Чье стадо, ваше преосвященство? — спросил Еропкин.

— Панургово, ваше превосходительство, которое вслед единой овце бросается в море и погибает в нем. Но что нам делать?

— Я именно за сим и приехал к вашему преосвященству. Тут является обстоятельство, касающееся не одного города, но и церкви.

— Вижу, вижу, — проговорил Амвросий задумчиво. — Мне, пастырю, приходится надеть тогу трибуна.

— Да, ваше преосвященство, власть трибуна выскользнула из моих рук.

— Да... Да... Тут икона, тут сама Богородица. Ей же народы и власти, цари всесильные поклоняются с трепетом... Она старше всех, старше ее уже никого нет на земле.

— Истину изволите говорить, владыко: точно. Богородица старше самой государыни, ее императорского величества.

— Старше, старше. Тут и государыня ничего не может.

— Не может! — Еропкин развел руками.

— Тут власть должна быть не от мира сего, да, да, не от мира, обдумывал архиепископ страшную дилемму, которую задал ему народ. — А мы все от мира.

— Да, ваше преосвященство, вот задача! — разводил руками начальник Москвы. — Я — лицо государыни здесь, я — глава Москвы, а там я бессильней всякого последнего нищего, юродивого. Там я не смею приказывать именем всемилостивейшей государыни моей, там мне могут сказать: "Твоя-де государыня Богородице не указ!"

— Не указ, точно, не указ!

Амвросий встал и в волнении подошел сначала к портрету Петра Могилы, потом к киоте, как-то машинально. Из киоты смотрел на него все тот же кроткий лик, и, казалось, смотрел так грустно-грустно.

— Вот кто один выше Богородицы: вот он! Ессе homo! — с какой-то страстностью и тоскою сказал взволнованный архиепископ.

Еропкин оглянулся. Его поразило лицо Амвросия, который стоял, с мольбою протянув руки к Спасителю.

— Се Он... Се человек... Ессе Бото!

— Да, ваше превосходительство, — тихо произнес Еропкин. — Но Его нет с нами.

— Нет, Он здесь! Он с нами! Я в себе Его чувствую.

— Но как нам успокоить Москву?

— Надо взять оттуда Богородицу.

— Помилуйте, ваше преосвященство! Это сделать нельзя!

— Для чего нельзя?

— Народ не даст ее. Он взбунтуется... он Москву разнесет по клочкам.

— Не разнесет. Он покорно пойдет за Богородицей. Сам понесет Ее, будет падать ниц перед Нею, только бы

по нем прошли ноги тех, кои удостоятся нести святой лик.

— Но куда же Ее, владыко, унесем мы, где спрячем?

— Не спрячем, зачем прятать! Мы поставим Ее в новостроенной богатой церкви Кир Иоанна.

— Нет, ваше преосвященство, я боюсь этого. Ее теперь нельзя трогать. А одно разве я могу посоветовать, взять оттуда и перенести в безопасное место казну Богородицы, чтоб оную не расхитили.

— Это скриню железную?

— Да, там огромный сундук, железный ларь вместо кружки, с отверстием сверху для денег. Говорят, ларь уже полон.

— А если народ скажет, что Богородицу грабят? — в раздумье спросил Амвросий.

— Не скажет, ваше преосвященство, я вместе с вашими консисторскими чинами пошлю для взятия ларя и своих солдат.

— О-о-охо-хо! Что-то из сего произойдет? — нерешительно сказал Амвросий и снова подошел к киоте, как бы в лице Спасителя ища вдохновения и поддержки.

Да, ему нужна была эта божественная поддержка. Почему-то в эти дни образ мучимого Христа не отходил от него ни днем ни ночью, и почему-то в эти самые дни так назойливо врывались в его душу воспоминания детства, молодости, студенческие годы в Киеве, Печерская лавра и тот тихий вечер, когда, перед посвящением своим, перед отречением от мира, накануне пострижения своего в монахи, он в последний раз слушал тоскливую песню девушки, которую он... которая не могла быть... его женою, подругою... которая, одним словом, пела:

Священники, диаконы  
Повелят звонить  
Тоди об нас перестанут  
Люди говорити...

— Ну, делайте как знаете, а я распорядюсь по консистории, — сказал он, наконец, силясь отогнать от себя рой тяжелых и дорогих воспоминаний.

Еропкин уехал. Амвросий остался один с своими думами.

А бесноватая Москва вплоть до ночи продолжала корчиться и тысячеустой кликушей выкликать: "Порадейте, порадейте, православные, Богородице на всемирную свечу!"

Наступал вечер. Народ не расходился; бесноватая Москва, по-видимому, собиралась ночь провести у Богородицы. Литии, моления, возглашения, крики не переставали оглашать воздух, только голоса стали хрипловатые и еще страшнее.

— Порадейте, православные. Богородице порадейте!

— Услыши ны. Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече!..

— Проклят буди день! Проклята буди ночь! Проклята буди мать моя!

Из-за этих криков раздаются то и дело стоны другого рода, еще ужаснее. Нет-нет да и волокут из толпы умирающего в корчах старика, молодого детину или рожаящую в муках бабу, или волокут труп уже посинелый, и к нему с погребецкой фуры протягивается крючковатый багор мортуса и тут же в виду других смертей, на глазах у обезумевшей толпы, вскидывает его на свою смертную колесницу.

Но вот сквозь толпу протискивается команда солдат, куда! Это капля падает в море и исчезает. С солдатами и консисторские чины, канцеляристы, подьячие. Незаметно дотискиваются они до самых ворот, до

лестницы, подставленной к иконе, к ларю, на котором продолжает сидеть все тот же чудовидец Илья-фабричный и кричит в истошный, но уже осипший голос: "Порадейте, православные!" Он весь день тут сидел и кричал, ему есть сюда приносили, но он и от пищи отказался, а все кричал.

Дотискивается команда с чинами и до Ильи, и до ларя. Чин держит в руках бумагу и консисторскую печать, с куском воску для печатанья. Протягивает чин руку к ларю, к казне Богородицы, печатать хочет. Дрожмя дрожит рука у чина, не от пьянства, а от страха. Дотрагивается до ларя, до замка.

— Богородицу грабят, православные! — раздается вдруг страшный, нечеловеческий голос.

Это Илья кричит, чудовидец. Страшно вздрогнула толпа, зашаталась лестница. "Ох, ворота падают! Богородица падает!"

— Богородицу грабят! — подхватывает толпа. — Батюшки, грабят!

— Православные, братцы! Не давай Богородицу!

— Не давай в обиду Матушку!

— Сюда, кто в Бога верует: Богородицу грабят! Звони сполох! Бей набат! Эй, православные, не выдайте, голубчики!

Как из земли, вырастают кузнецы с железными клещами, рогатинами, кузницы тут недалеко.

— Бей их! Вяжи! Не давай Богородицу!

— Звони во все! Звони сполох!

Команда смята, раздавлена, перетерта ногами: куски солдатского и подьяческого тела разнесены на сапогах, на лаптях и на онучах.

Кровь пролита, первая кровь! Бесноватая Москва понюхала крови, и теперь нет ей удержу...

Бестолково, испуганно, но как-то страшно, набатно заколотили колокола у церкви Всех Святых на Куличках. Звонящие рвут за все веревки, дергают туда и сюда,



обрывают их, цепляются руками за колокольные языки и бьют в края колоколов. Им отвечают таким же набатом у Спасских ворот. Отвечают еще и еще, во всех концах города.

Наконец заговорила Москва, запели все сорок сороков московской народный гимн. Испуганная, уже было уснувшая на ночь птица снялась с места, повылетала из гнезда — и безумно, тучами носится и каркает над Москвой. Завыли перепуганные собаки — завывала вся Москва.

— Богородицу грабят! Боголюбскую Богородицу грабят!

А колокола-то заливаются, стонут, захлебываются во все сорок сороков! Это рычит невиданное и неслыханное чудовище, главная пасть которого в Кремле, на Иване Великом, а сорок сороков других пастей режут ревмя, бешено, радостно режут во всех концах города, от центра до окраин, до Камер-коллежского вала, до застав, до кладбищ, по всем городским и загородным монастырям. Как не распадутся церкви, стены Кремля и башни от этого звона, такого звона и гласа металлического, которого и Иерихон, падая в прах, не слышал!

Кто еще оставался по домам, и те бегут на набатный звон. В руках топоры, вилы, багры, дубье, запоры от ворот, железные болты со ставень.

Ночь опустилась на Москву. Тьма кромешная. А Москва мечется, ищет еще кого-то: той крови мало, та вся осталась на лаптях да на онучах — и не попахло. Надо новой крови.

— Богородицу грабят! — не умолкают возгласы.

— В Кремль, православные! Грабителей сыскивать!

— В Чудов, братцы! По архиерея! Он грабитель, он Богородицу велит грабить! По архиерея! — кричит Савелий Бяков, солдатина саженный с седою, как у бабы, косою.

— В Чудов! В Чудов! По грабителя Матушкина!

Толпы повалили в Кремль, к Чудову. "Долой шапки!" — это в Спасских воротах. Впереди всех саженный солдатина Бяков с седою косою. На плече у него целая рогатка от плац-парада. Лица у толпы безумные, еще страшнее, чем были... Бегут, спотыкаются, падают.

Тут же и собачонка, знакомая, маленькая, кудлатая, Маланья. Куда ты, несчастная! Да как же ей-то не бежать, коли вся Москва бежит. Вон и ее краснобровый приятель тут же: тоже спешит Богородицу защищать — он тоже русский человек, православный, ему также Богородицу жалко... Он из усердия.

Налегли на Чудов, высадили железные ворота и на себе их, как щит, как трофей, внесли в ограду.

Высадили разом несколько дверей и окон с железными решетками. Все повалилось внутрь, и люди валяются друг на дружку...

— По кельям, братцы, по всем ищи! — гудит толпа, толкаясь лбами в темноте.

— Ищи, шарь по всем норкам! — командует седая солдатская коса.

— Не видать ничего, братцы! Огня давай! Зажигай свечи! Ищи! Норы перерывай!

И пошли перерывать норы, опрокидывают и вдребезги разбивают столы, мебель, конторки, аналои. Нету грабителя! Книги летят вместе с шкафами, книги рвутся, топчутся ногами, летят в окна. "Катай все книжное! Катай еретическое!" Нету грабителя! Печи еще везде целы. "Ломи, братцы, сади в печи, може, там!" И печи все разбиты, развалены, растрошены, самые кирпичи и изразцы перетираются в порошок лаптями да сапогами. В крестовую ввалились: утварь церковная загремела, сосуды, кресты, евангелия, антиминс, всё на полу, по всему топчутся окровавленные онучи. "Еретицкое все топчи!" Один дом со всеми кельями разнесли, другой разнесли, еще

какой-то разносят. "Это казенная палата! Там гербова бумага, с орлом, не трожь!" — "Катай и ее! Катай бумагу! По бумаге Богородицу грабили". И "катают" казенную палату, разносят и ее, разносят на лаптях да в корявых лапищах дела, книги, перья топчут: "Ишь, дьяволы, пижут ими приговоры!" и топчут, троцат все. "Рви орлину бумагу, гербову, рви ее! Богородицу грабят!"

Врываются в келью Амвросия, нет его! Только ладаном пахнет. На столе развернутая книга: *Pestis indica*, так и чернеется на заголовке. Тут и крест, и Евангелие.

Раньше всех сюда ворвался наш знакомый краснобровый солдат со своей собачонкой, и... обомлел! У киоты горят восковые свечи, а из киоты кто-то смотрит, да такой добрый-добрый. Смотрит прямо в глаза солдату, кротко-кротко смотрит — и у солдата сердце упало! Он смотрит и... качает головой!

Окаменел солдат; глядя на него, и собачка хвост поджала, жметя к ногам солдата.

Топот ног, сапог, шмыганье лаптей, онуч. Врываются.

— Стой! — кричит не своим голосом солдат.

— Чего стой! Эко дьявол! Катай!

— Стой! Говорят вам, стой! Ни-ни! Не трожь! (Солдат дрожит.)

— Что ты? Али очумел!

— Нет, братцы. Он... Он смотрит — головой качает, — говорит рыжий, протягивая трепетную руку к киоте.

Толпа притаила дыхание, онемела, слышен только рев извне, это там идет работа защитников Богородицы. А эти онемели.

— Смотрит... Он смотрит...

— Глядит и впрямь, братцы! Ох! Глядит...

— Батюшка! Это сам Бог глядит...

— Назад, братцы! Назад! Тут Бог глазами смотрит.

— Назад! Назад, православные! Бог там!

Толпа с ужасом отвалила от кроткого лика Спасителя и скоро забыла о нем.

Одна часть толпы, опустошив кельи экономические, консисторские и монашеские, из которых монахи успели бежать, не оставив доски на доске в нижних архиерейских, кроме той, где безумцев напугал кроткий лик Спасителя, ринулись в верхние кельи, где светился огонек в крайнем окошке. Звери бросились на огонь, ворвались в келью и остановились в немом изумлении: в углу, у иконы Богородицы с Предвечным Младенцем на руках, теплилась лампада, а на полу кто-то лежал распростертый и молился.

Молящийся встал и оборотил лицо к толпе, безмолвно остановившейся у дверей.

— Он, братцы! Нашли грабителя! Нашли! — дико закричал стоявший впереди всех гигант с седою косою. — Вот кто грабит Богородицу!

— Архиерея нашли! Сюда, братцы! Сюда, православные! — подхватила толпа.

Да, это был... он. Черные вьющиеся волосы, рассыпавшиеся по плечам, черная окладистая борода, смело вскинутые над черными мягкими глазами брови, южный орлиный нос.

Гигант с косою выступил вперед, держа в руках огромную рогатку.

— Говори, архиерей, для чего ты велел грабить Богородицу? — спросил он хрипло, угрожающе.

— Я не архиерей, — тихо отвечал тот.

— Как не архиерей! Сказывай! Кайся! — и страшная рогатка поднялась над головою несчастного.

— Я не архиерей, — отвечал тот во второй раз.

— А! Он запирается! Так молись же Богу! Молись в последний раз! Вот тебе за Богородицу! — и рогатина поднялась еще страшнее: вот-вот громом упадет на голову. — Молись! Исповедовайся!

Тот упал на колени и беспомощно поднял руки к небу.

— Господи! Ты видишь...

Вот-вот ринется на голову ужасная рогатина. Ручные мускулы гиганта напряглись, как стальные веревки...

— Господи! Ты веси...

— Капут! Раз... два...

— Стой! Стой! Разбойник! Что ты делаешь? — неистово раздался крик в толпе.

Руки гиганта дрогнули. Рогатина замерла в воздухе. Из толпы выскочил Фролка — приказная строка.

— Что ты делаешь, душегуб? — хрипит Фролка.

— А тебе какое дело, приказная строка? Архиерея учу, чтоб не грабил Богородицу.

— Да это не архиерей! Это брат его, Никон, архимандрит Воскресенский.

— Это Никон, точно, Никон! — раздался голос в толпе.

Гигант отступил в смущении. "Промахнулись, братцы", — бормотал он. Никон с теми же поднятыми к потолку руками продолжал стоять на коленях и тоже бормотал что-то.

— Ваше высокопреподобие! Благословите меня! — подошел к нему Фролка.

Несчастный архимандрит бессвязно бормотал:

— Ты веси. Господи... Я умираю. Ой, умру, я умру та й буду дивиться... Ой, чи буде моя мати за мною журиться... Ой, умру я, умру...

Фролка взглянул в глаза несчастного и с ужасом отступил: архимандрит Никон перестал быть человеком, он потерял рассудок навсегда... Впрочем, ненадолго: через четырнадцать дней он умер.

### III. УБИЕНИЕ АМВРОСИЯ

Где же был тот, которого искала московская бесноватая чернь?

Когда раздался первый набатный сполох у церкви Всех Святых на Куличках, Амвросий вместе с приехавшим к нему в тот вечер племянником, Бантыш-Каменским, с отцом известного историка, просматривал то место Фукидида, где он описывает свирепствовавшую в Аттике, во время персидских войн, страшную моровую язву, занесенную в Грецию с Востока, и обратил внимание на то обстоятельство, что бич этот, по-видимому, поражал преимущественно илотов и рабов.

— Так и у нас, — заметил Бантыш.

— Да, но илоты потом поразили метиков, метики — дальше...

В это время набат раздался у Спасских ворот. Затем еще где-то, а там еще, еще...

— Боже! Что это значит?

— Пожар, должно быть, дядюшка.

Подошли к окнам, но зарева нигде не видать — везде мрак. Послали служку к Спасским воротам узнать от звонаря.

А набат усиливается.

— Не доброе, не доброе что-то, — шепчет Амвросий, невольно бросая взор на лик Спасителя...

Вбегает запорожец-служка, такой веселый, стучит чаботищами, и слышно было даже, как на дворе еще он что-то хохотал сам с собой. Стоит, прехитро улыбается.

— Ну, что там? — беспокожно спрашивает Амвросий.

Молчит запорожец, зажимает нос кулачищем, чтобы не фыркнуть.

— Да говори же, дурный! Что ты! — прикрикивает на него Бантыш, но и сам улыбается. — Чего тебе весело?

— Та сором и сказати!

— Ну? Да ну же, дурак!

— От же Москва! От дурный москаль, такой дурный, ще Мати Божа!

— Да что же такое? Говори наконец!

— Он теперь там вона сказилась, Москва каже, що Богородицю граблять...

И запорожец добродушно и укоризненно засмеялся. Амвросий и Бантыш переглянулись... Последнему показалось, что у архиепископа волосы на бровях и на голове дыбом становились.

— От дурни москали! Богородицю, бачь, граблять. А хиба им можно грабити, коли вона на неби! — мудрствовал запорожец. — Вона на неби Богородицю не можно грабити...

А набат уже ревел по всей Москве. Несколько сот квадратных верст кругом залито было звоном страшного сполоха, земля и весь Кремль, и стены Чудова дрожали от ужасных звуковых волн.

Амвросий, казалось, раздумывал. Глаза его с невыразимой мольбой упали на лик Спасителя, освещенный лампадою и большими восковыми свечами. "Сад Гефсиманский... моление о чаше... Какой тогда у него был лик?" — невольно вопрошалось где-то глубоко в душе.

— Ты в карете приехал? — быстро спросил Амвросий племянника.

— В карете, дядюшка.

— Так я еду с тобой.

— И я, владыко? — поторопился запорожец-служка.

Амвросий задумался было немного. "Да, да... и ты... теперь темно... ты, у тебя сердце лучше головы", — торопливо сказал архиепископ своему служке.

А набат ревет. Уже слышен издали ропот голосов, но такой глухой, стонущий, как спор моря с ветром.

Амвросий надел клобук, взял в руку посох и упал перед ликом Спасителя.

— Благослови странника, распятый за ны! — сказал он громко. — Камо иду, не вем. Ты един веси... А призовешь к себе... иду... готов есмь, готово сердце мое.

И он бодро вышел из кельи, громко стуча посохом и невольно еще раз оглянулся на Спасителя.

Карета стояла у крыльца. Амвросий, осенив ее и монастырь крестным знаменем, поместился внутри ее вместе с племянником, а службе велел сесть рядом с кучером. Кучер тронул. Когда карета выезжала из ворот монастыря, архиепископу почему-то вспомнился тот момент из его детства, когда мать, благословляя его перед проводами в бурсу, сказала: "Не забудай, сынку, коли й попом будешь, а може, и архиреем, як тебе мати провожала и головоньку тобі чесала..." И почему это теперь именно вспомнилось, как мать курчавую головку расчесывала? А сколько прошло потом через эту голову дум, сколько в ней накопилось воспоминаний, которых не вместить в себе никаким "пишемым книгам...". И не легче от этого стало многодумной голове, не стало архиепископское сердце счастливее того, которое билось когда-то в груди ребенка.

Карета проехала Спасскими воротами, а там, на Красной площади, валили уже народные волны с ревом, заглушавшим набатный гул колоколов. В темноте двигавшиеся нестройные массы казались каким-то разорванным на огромные куски тысяченогим и тысячеголосным чудовищем.

— Богородицу грабят! — выделялись из этого рева страшные слова, как выделяется из рева морской бури отчаянный выстрел потопяющего корабля.



Амвросий невольно вздрогнул и прижался в угол кареты.

— Боголюбскую Богородицу грабят! — ближе и явственнее зеванула чья-то широкая глотка.

— Тю-тю, дурни, — огрызнулся неугомонный служка, сидя на козлах.

— Давай грабителя! Давай еретика!

— Давай им! Кого там? Овеча порода! — ворчал служка.

"Разнесем!" — "Мы ему покажем, как козам рога правят!" — "Мы ему дадим Кузькину мать!" — "Стой, братцы, за Богородицу!"

В окне кареты показалась белая нежная рука и крестила толпу.

— Ишь, матушка-игуменья из кареты нам ручкой делает, — закричал кто-то, завидев в темноте каретного окна бледную руку архиепископа.

— Благослови, матушка! — закричал другой голос. — За Богородицу стоять идем.

Толпы ринулись дальше, и карета продолжала свой путь.

Страшен был этот путь по мрачным улицам беснующейся Москвы. Кругом тьма кромешная, и в этой тьме еще диче раздавался крик людей, звон колоколов и отчаянный вой собак. К этому присоединялось карканье птиц, которые металась по темному небу, боясь опуститься на Москву, сесть на крыши домов и на городские стены, которые тоже, казалось, взбесились и кричали.

Карета мчалась к Донскому монастырю. И в дальних кварталах слышались те же крики, отворялись и затворялись ворота, гремели запоры, стучали ставни, кричали и плакали люди.

— Богородицу грабят! — раздавались женские и детские голоса по глухим переулкам. — Турка грабит!

— Матушки! Страшный суд пришел! Звезды померкли, солнышко потухло. Турка идет на Москву!

— Помогите, православные, помогите! Умираю... ох, смертушка моя...

Это была действительно ночь смерти, как бы завершавшая собою тот страшный чумной цикл, чрез который, как чрез трисорокадневные мытарства, прошла Москва, чтобы вступить с плачем и скрежетом зубов в самый ад. И она вступала теперь в эту адскую область.

Амвросий ехал молча. В ушах его стоял набатный звон, и словно разрывались в мозгу и в сердце страшные людские крики, возвращавшие его сюда, в эту адскую область, в эту кромешную тьму, между тем как перед глазами его проносились какие-то яркие, разорванные и разметанные в пространстве и во времени обрывки, клочки из всей его жизни: то стены бурсы, облитые ярким светом месяца в тихую лунную ночь; то массивная греческая книга, из-за которой выступали строгие лица подвижников; то лицо матери, стоящей у ворот и махающей белою хусткою вслед фуры, которая увозила куда-то далеко черноголового мальчика; то момент пострижения в монашество, когда откуда-то, словно с купола лавры, неслось пение "аксиос, аксиос, аксиос!" и когда чья-то рука холодными ножницами прикасалась к его голове, а потом эти ножницы звякали об пол, и раздавался голос: "Подаждь ми ножницы сия..." И ножницы опять прикасаются к голове, с визгом отрезают прядь волос, и холодно-холодно становится голове и сердцу.

И теперь холодно голове. Что-то как будто ходит под волосами, поднимает их, шевелит ими, и дрожь пробегает по всему телу. Да, шевелятся волосы, они ожили, они ходят по голове... Клубук поднимают ожившие волосы.

Амвросий снимает с головы клубук.

— Далеко еще до монастыря? — спрашивает он. — Я ничего не вижу.

— Нет, дядюшка, недалеко уж, — отвечает Бантыш-Каменский.

— А мы точно целую вечность проехали.

— Да, долго. Вы правы, илоты пошли на Афины, — задумчиво поясняет Бантыш.

Наконец, карета подъехала к Донскому монастырю. Там, по-видимому, никто еще не спал, везде виднелись огни. У ворот стоял привратник. Карету окликнули: "Кто идет?"

— Я, архиерейский племянник, — поспешил ответить Бантыш, высунувшись из окна кареты.

Карету впустили в ворота. Незамеченный никем, Амвросий быстро прошел вместе с племянником в настоятельские кельи, неся клубок в руке. В образной они увидели, что кто-то стоит у аналая и читает: "Царь бо царствующих и господь господствующих приходит заклатися и дадися в снад верным. Предходят же сему лица ангельстии со всяким началом и властью, многоочитии херувимы и шестокрылатии серафимы, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуия, аллилуия, аллилуия".

— Мир ти! — раздался вдруг тихий голос.

Тот, что стоял у аналая и читал, высокий белокурый монах с наперстным крестом, с удивлением поднял голову и отступил от аналая.

— Мир ти! — повторил тот же голос.

— И духови твоему, — отвечал читавший нерешительно.

— Епифаний, друг мой искренний, ты не узнаешь меня? — продолжал Амвросий (это говорил он).

— Владыко! Боже мой!

И тот, кого Амвросий назвал другом своим, Епифанием, с ужасом попятился назад. От изумления или от страха он, по-видимому, окаменел.

— Епифаний!

— Владыко! Что с тобою! Что случилось?

— В Москве чернью овладело безумие. Мор и страх лишили народ последнего рассудка. Теперь они кричат, якобы я велел ограбить Богоматерь Боголюбскую, и ищут главы моей.

Он тихо опустил на складное сиденье, поставил клубок на стол и перекрестился. Высокий монах упал на колени и со слезами припал к рукам архиепископа.

— Не сетуй, друг мой! Судьбы Господни неисповедимы...

— Но, Боже мой! Ты взгляни на себя, владыко! — вскричал монах, всплеснув руками.

— Что же, друже мой! Страх смерти пройдет сквозь душу мою, — тихо отвечал Амвросий.

— Нет! Нет! Я боюсь сказать тебе! — с прежним отчаянием повторял Епифаний.

— Да что же? Я ко всему готов...

— Ты не видел себя... ты... — Епифаний остановился.

— Что же я, друг мой?

— Взгляни на свои волосы, владыко. Еще утром они были черны, как крила ворона, а теперь они седы, как у ветхого старца!

Амвросий, закинув руку за плечо, взял прядь своих густых волос и поднес к глазам: они действительно поседели.

Как-то странно дрогнула при этом бледная рука архиепископа, которая за час до этого благословляла безумную толпу, жаждавшую его крови. Но кроткая улыбка осветила его лицо.

— Да... Они седы стали... Скоро в час един...

И он задумчиво и грустно перебирал рукой эти седые волосы, чужие, не его. Его волосы еще днем сегодня отливали на солнце, как вороново крыло, а теперь они белые, незнакомые какие-то волосы.

— Да, да, белы, аки снег... чище стали, очистились. Окропил их Господь иссопом страха смертного, и паче снега убелилися они, — тихо, качая головой, говорил он.

А Епифаний, безмолвно стоя на коленях перед ним, беззвучно плакал, закрыв лицо руками.

— Да, да, да. Скоро убелил Господь. Тысящи лет пред очима Его яко день един.

Набатный звон, однако, доносился все слабее и слабее.

Вошел и племянник Амвросия и также с ужасом отступил, увидев, что несчастный спутник его поседел на пути от Чудова монастыря к Донскому, вот почему так долг казался им этот роковой путь! Да, он очень долг: в продолжении его человек прожил лет двадцать, дожил до седых волос, которых у него еще не было.

— Господи! Что же это такое! — с отчаянием вскричал Бантыш.

— Ничего, друг мой, это Бог, — спокойно отвечал архиепископ. — Тысящи лет пред очима Его яко день един. Что ж стоило Ему превратить для меня час един в тридцать лет!

А время между тем шло своим чередом, и ночь эта страшная шла своим чередом: для счастливых пролетала как один сладкий миг, как вздох переполненной блаженством души, как опьяняющий поцелуй; для несчастных и страдающих — как вечность, как тысячи лет и тьмы тем мучительных часов.

Пропустим же эту страшную ночь, вычеркнем ее из нашего повествования, потому что она была слишком долга для несчастного.

Он молился почти всю ночь, и Епифаний не отходил от него, Епифаний Могилеанский, киевской архимандрит, его школьный товарищ и друг. Он приехал в Москву навестить этого друга и дать ход

некоторым делам своего монастыря, но чума захватила его тут, и он не мог выехать вовремя.

Когда Амвросий на минуту переставал молиться, Епифаний старался навести его на лучшие, менее мрачные мысли, и они вспоминали свою молодость, академические годы, Украину, Киев.

— И по сей час растет та верба, которую ты посадил, помнишь, в лавре, — вспоминал Епифаний.

— Помню. Я тогда переходил на курс элоквенции. Как это давно и в то же время как это, сдается, недавно было, — грустно качая головой, уже седой теперь, говорил Амвросий.

— Да, и как слепо и пышно растет.

— Так, так и перерастет нас.

— А на передней парте, в философском классе, все еще цела надпись, что ты вырезал, помнишь?

— Какая? Много я их резывал когда-то.

— А твой девиз: *aut omnia aut nihil*<sup>1</sup>.

— Да, да. Мое отта уже проходит, а идет *nihil*.

— Для чего же так думать? Ты еще не стар...

— А Господь на что? Сегодня Он состарил меня на тридцать лет, а завтра... Э! Завтра, друже, может быть, помнишь?

Священники, диаконы  
Повелят звонить  
Тоди об нас перестанут  
Люди говорити...

И архиепископ горько улыбнулся.

— Да, помню, только зачем же так думать? — успокаивал Епифаний.

— Я и не думаю, друг, а душа моя слышит, что там ищут моей смерти.

— Э! Помилуй, теперь там тихо. Они спят... давно.

Нет, они не спали. Устав бесполезно ломать, разбивать, крошить в щепки и в мусор печи, полы, двери, окна, мебель, посуду, сами стены и не находя того, кого искали, они бросились в монастырские подвалы и погреба, вышибли в них железные двери и добрались до бочек с водками, винами, спиртом, разными питиями и маслами. И тогда потекло пьяное море: черпали из бочек пригоршнями, шапками, сапогами, лаптями и пили, до осатанения пили. Кто выкатывал сорокоуши на двор, кто вышибал из них днища, кто лез головой прямо туда, в источник опьянения, и опять все пило и кричало, что "Богородицу грабят". Слышались крики, что "турка идет на Москву", что сам "мор ходит по Кремлю в виде бабы простоволосой"...

— Ходит, ребяташки, и по-турецки разговаривает.

— А ты что же ее не за косы?

— Э! Поди-тко, сунься, не велено.

— Кто не велит? Бей ее, суку!

Все, что желало пить, забыться, все пило с отчаяния, пило с проклятиями, с криками, что-де все равно завтра умирать, не видать больше красна солнышка, пить-де умереть, не пить — умереть, так пей, душа, пьяною и на тот свет пойдешь.

Отдельные толпы хлынули к окраинам города "карантеи разбивать", "несчастненьких выпускать" и все это само лезло на заразу, на смерть. Карантины разбиты.

Где же Еропкин? Куда он девался? Где его энергия, неустрашимость, уверенность?

То же спрашивали и современники. "Где же полицейские офицеры с командами их? Где полк Великолуцкой, для защищения Москвы назначенный? Где, напоследок, градодержатели? Город оставлен и брошен без всякого призрения!" — восклицает очевидец этих ужасов в письме к своему другу.

Где же, в самом деле, были в эту страшную, поистине "воробьиною" ночь, когда даже ни воробьи, ни галки на Москве не могли сомкнуть глаз во всю эту ночь оттого, что они видели вокруг себя, — где были градодержатели первопрестольной столицы?

А вон, главнейший градодержатель господин генерал-фельдмаршал, ее императорского величества действительный камергер, сенатор и московский главнокомандующий, славный победитель Фридриха Великого, сиятельный граф Петр Семенович Салтыков, ввиду грозившей его собачкам от моровой язвы опасности перевезший весь свой многочисленный собачий штаб в свое подмосковное имение, а вместе со штабом перетащивший туда и свои старые кости, вон он, мучимый бессонницей, тихо бродит по обширным пустым залам своего роскошного дворца, слабо освещенного восковыми свечами, и то и дело останавливается сам перед собой, не узнавая себя в огромных бемских зеркалах, останавливается и с удивлением спрашивает: "Кто вы, государь мой? Чего вам от меня надобно?" Потом узнает себя, машет с досады рукою и опять бродит. За пазухой его шелкового халата копошится что-то живое, к которому он то и дело нагибает свою старую голову и тютюшкает. Это щенок, которого привез ему обер-полицмейстер от генерала Мамонова и который, по свидетельству обер-полицмейстера, родился с глазами. Граф сильно привязался к малютке и постоянно носит его за пазухой и постоянно тютюшкает. "Ах, бедненький мой сироточка! Нету у тебя ни отца, ни матери, стой, стой, я велю моему обер-полицмейстеру, а то и Петру Дмитриевичу Еропкину, он разбитной молодой человек, велю сыскать твою суку-матушку. Ишь, шельма, убежала!" Потом подносит своего любимца к столу, наливает из серебряного молочника молочка в фарфоровую чашечку и кормит его.



Вот что делает главный градодержатель!

А вон и Еропкин. Услыхав набат и свирепые крики в Кремле, он велит подать себе коня-аргамака и вместе с веселым доктором скачет на место криков.

— Негодяи! Мерзавцы! Я вас! — неистово вскрикивает он, подскакивая к толпе.

— Тише, тише, генерал! — унимает его веселый доктор.

— Что такое! Я их!

— Тише, вы не Бог, его же и ветры послушают, ведь это стихии грозные...

— Я в вас!

— А! Енарал! — сипит великан с сивой косой, и массивный шест, свистнув в воздухе, ударяется о красивое, молодое тело генерала.

— Ой, негодяй! — стонет генерал.

— А! Вот тебе ишшо! Н-на! И мы тоже не левой ногой сморкаемся! — и булыжник, в голову величиной, прошумев в воздухе, бьет генерала по ноге, но так, что прекрасный, арабской породы аргамак вместе с генералом становится окарач.

— Бей его! Лови!

И конь, и всадники скрываются. "Улю-лю-лю! Улю-лю-лю!" — слышится им вслед. Остается один веселый доктор. К нему радостно бросается какая-то собачка.

— А! Маланья! И ты тут...

— Тут, тут, ваше благородие, — вырастает из земли краснобровый солдат. — Только вы-то, Христа радушки, уходите отселева. Жаль мне вас. Тут у нас хуже Турции, такие везиря позавелись! И не приведи Бог... Уходите, батюшка. Крестьян Крестьяныч!

И веселый доктор тоже исчез.

Так прошла ужасная ночь. Наутро главная партия защитников Богородицы, под предводительством великана с сивой косой и по науськиваниям "гулящего попики", направляется к Донскому монастырю.

Там уже шла ранняя литургия. Амвросий собирался в церковь, как услышал у стен монастыря говор, неистовые крики и оружейную пальбу. Он понял, что это пришла его смерть, и, как бы прощаясь, взглянул на своего друга. Тот стоял безмолвный, бледный. Из-за стен доносилось что-то очень грозное...

Вдруг в келью вбегает запорожец-служка. Мужественное лицо его бледно, руки дрожат.

— Ваше преосвященство! — вскричал он, падая на колени. — Нехай мене вбьют, а не вас...

— Спасибо тебе, доброе дитя! — со слезами отвечал архиепископ. — Не тебя ищут, а меня.

— Ни, ваше преосвященство! Вы надиньте мий кожух, а я вашу рясу и клобук, та и посох озьму, то вони не пизнают мене и вбьют.

Архиепископ грустно покачал головой, взглянул на образ Богородицы с Предвечным Младенцем, перекрестился и направился в церковь. Запорожец, обхватив его ноги и обливая их слезами, стонал: "Ни-ни, я вас не дам им... Не ходить до их, не ходить, не ходить!" — И он волокся за ногами архиепископа, ловя его рясу и рыдая как ребенок.

На дворе слышнее было, что творилось за воротами монастыря. Амвросий на мгновенье остановился, взглянул на небо, которое начинало голубеть и розоветь с востока, и, подняв руку, широко благословил своих невидимых врагов, голоса которых звучали как-то глухо, набатно.

Войдя в церковь и поклонившись местным образам, он обратился к стоявшим в церкви и сделал три глубоких поклона на три стороны. Когда из-под черного клобука блеснуло, буквально блеснуло его бледное лицо, когда бывшие в церкви увидели, откуда исходит этот странный блеск, когда понятно стало, что это кланяется страдалец, которому одна ночь посеребрила волосы, все упали на колени и поклонились до земли с

каким-то стоном ужаса и отчаяния. И он, троекратно благословив эти припавшие к церковному полу черные клобуки, тихо вошел в алтарь.

Началось богослужение. Похоронно звучали молитвы служащих, что-то похоронное слышалось и в пении клиров, многие рыдали.

А глухие раскаты все ближе и ближе... Слышно было, как грохнули выдавленные напором толпы монастырские ворота, как ревущая волна ворвалась в монастырь, как разлилась она по нем и все залила собою.

Скоро из-за черных клобуков показались зловещие лица. Над всеми высилась седая голова с длинною косою и рогаткою в руке. Показались дреколья, шести, рогатины, ружья. Это облава, это бешеного волка ловят в лесу? Нет, это вошли в церковь защитники Богородицы. Вошли, и ни с места: служба идет, службу нельзя прерывать, грешно.

Амвросий видит все это и не может отвести глаз от седой головы великана с косою. Это Голиаф, только седой, вставший из своей могилы. А Голиаф смотрит на Амвросия, глаза их встречаются.

Служба не может идти дальше: и священник, и дьякон, и клир захлебываются слезами.

Амвросий подходит к жертвеннику, падает перед ним и, подняв руки, громко молится: — Господи, остави им, не ведяты бо, что творят. Боже правый! Не введи их в напасть, но отврати стремление их, и яко же смертью Ионы укротися волнение моря, тако смертью моею да укротится ныне волнение сего свирепствующего народа... Боже! Боже!

Потом он берет сосуд и приобщается. А те ждут, пушай-де кончит. Вся церковь тихо рыдает.

Кончил, уходит куда-то, скрывается. Ох, уйдет, ускользнет из рук!

— Нет, не ушел! — Сапоги, лапти, босые ноги, дреколья, рогатины — все повалило в алтарь, все ищет его...

Нашли...

— Сюда! Сюда, братцы! Здесь он!

— А! Ты Богородицу велел грабить, — сипло говорит великан с сивою косою и ударом кулака сшибает с несчастного кlobук, блеснули седые волосы.

— Да это не он, — кричит кто-то. — У него черные волосы, а этот седой.

— Я, дети мои! Я — Амвросий-архиепископ.

— А-а! Так это ты? Иди же на суд!

И огромная рука великана вцепляется в седые волосы мученика, валит его на пол и волочет из церкви. Голова стучит об пол, об ступеньки амвона, — ни стопа, ни звука жалобы. Волокут мимо образа Донской Богородицы.

— Дети мои! Подождите...

— Чего тебе!

— Дайте приложиться к образу Богоматери.

Страшная рука выпускает волосы. Мученик встает и целует икону. Волосы прядями падают ему на лицо, он их откидывает назад.

— Я заплету тебе их! — и седые волосы опять в безжалостной руке, опять голова колотится об пол, об церковный порог, об чугунную плиту, и опять ни слова, ни звука жалобы.

— А... молчит! — и над колотящейся об пол седую головой поднимается чья-то дубина.

— Не бей здесь! Не место, храм вишь...

Выволокли на паперть.

— Здесь можно! — и чей-то кулак бьет по виску несчастного.

— Не трожь! В ограде нельзя, негоже...

— За ограду! За ограду тащи! — ревут голоса. — За ограду долгогривого!

А в ограде делается что-то страшное. Келейник архиепископа, тот добродушный запорожец-служка, который предлагал Амвросию переодеться, увидев, что по двору волокут его, волокут его владыку, диким туром ринулся на толпу, сбил с ног и искалечил десятка два москалей, но далее не мог пробиться сквозь сплошную массу тел с дубьем и рогатинами. Он заплакал. Толпа кинулась было на него, науськиваемая "гулящим попиком", но запорожец, схватив попика за косицу и подняв его в воздух, стал отмахиваться им как дубиною, колотя направо и налево поповскими ногами в стоптанных сапожищах.

— Ай-ай! Мотри, братцы, хохол-от, хохол-от, ай-ай!

— Это он батюшкой-то, отцом Акинфием!

А Амвросий уже за оградой. Та рука, которая волокла его за волосы, подняла страдальца с земли и поставила перед собой. Лицо было избито, исцарапано, в волосы набилась земля, солома, щепки.

— Стой! Держи ответ! Ты архирей?

— Я, дети! — Да, трудно теперь было узнать в нем того, кем он называл себя. — Я ваш епископ, дети.

— Какой ты нам отец!

— Молчи! Одного слушать! — пригрозил великан. — Сказывай: ты велел грабить Богородицу?

— Я велел запечатывать.

— А! Кается! Сказывай, ты не велел хоронить покойников у церквей?

— Я, дети, по высочайшему...

— Кается! Кается! Сказывай дале: для чего ты не ходил с попами в ходах?

Амвросий молчал... "Иисусе же ответа не даде", — звучало у него в сердце. Из-за толпы показалась высокая фигура Епифания, друга его: он, стоя в стороне, плакал. "Исшед вон, плакася горько", — колотилось в сердце у страдальца, и ему стало легко.

— Сказывай, ты присудил запечатать бани? Ты велел брать нас в карантин?

Нет ответа, тихо кругом, все присмирело. Слышно только, как ворона где-то каркает, да из кабака, на радостях распечатанного молодцами, поется песня:

Подували буйны ветры со горы,  
Сорывали чорну шляпу с головы.

Сквозь толпу, с колом на плече, протискивается Васька, дворовый человек Раевских.

— Чего вы смотрите на него? — кричит Васька. — Али не знаете, что он колдун, морочит вас! Вот я его!

И кол свистнул в воздухе, скулы хряснули на лице у страдальца от страшной дубины, и он упал на землю. Начало было положено: волна навалилась на упавшего, пошли в ход кулаки, пинки, лапти, каблуки с железными гвоздями, лезли друг на дружку, колотили один другого, в воздухе мелькали рукавицы, дубье, брошенные шапки, клочья волос. Страшная работа!

"Убивши же до смерти архиерея Божию, — говорит самовидец, — отступили мало, скверня языками своими воздух. Присмотря же, что единая рука, правая, отмашкою двинулася, принялися паки бить кольями по голове. Отступивши же несколько, увидели, что пожался тот священный страдалец раменами, то и третично били, дондеже церковник некий, поп гулящий, диавольской церкви слуга, последним довершил ударом, отрубя несколько от главы коя часть над глазом, и осталася та часть висящею даже доднесь, лета от рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 1771-го, от страдания же и распятия за ны 1738, месяца септемвриа с 16-го по 18-е число, ни пси лютии, трупы язвенные по граду поядающие, ни врани хищнии, оных язвенных клюющие, не дерзаша оных честных мощей святителя касатися, и токмо врабии невиннии, сиречь воробушки малии, над архиереем Божиим горестно чиракахут".

---

## Сноски к главе

1—либо все, либо ничего (*лат.*)

## IV. УСМИРЕНИЕ "БОГОРОДИЦЫНЫХ РАТНИЧКОВ"

По убиении Амвросия дикие защитники Богородицы или "Богородицыны ратнички", как их назвал "гулящий попик", тут же около Донского монастыря сотворили военный совет, что предпринять дальше для упрочения своей власти в новозавоеванном городе и для приведения его в порядок.

Власть диктатора Москвы сама собою попала в руки громадному солдатине с сивой косой, дяде Савелию, по прозванию Бякову. Диктатуру эту разделял с ним Васька, дворовый человек Раевских, что первый ударил колом Амвросия. К ним присоединился еще и чудовидец Илюша-фабричный, к которому во сне приходила Боголюбская Богородица и сказала о "каменном дожде".

Москва, таким образом, очутилась в руках этого триумvirата. Власть первосвященников Москвы из первых рук Амвросия перешла в запачканные кровью руки "гулящего попика".

Старый наш знакомый, рыжий краснобровый солдат с собачкою, изображал из себя нечто вроде московского обер-полицмейстера, который постоянно требовал тишины и порядка и настаивал на немедленном упразднении карантинных, на распечатывании торговых бань и на открытии всех кабаков, "чтобы всем было слободно".

Краснощекий детина из Голичного ряда, Спиря, остался все тем же антагонистом нового московского первосвященника — "гулящего попика".

На военном совете первым держал речь наш краснобровый солдат:



— Напрасно, братцы, старичка-то убили, владыку, — говорил он.

— Как напрасно, — возражал ему "гулящий попик". — От ево распоряжений да указов и мор пошел по городу. Шутка ли! Не велеть хоронить при церквах, не велеть исповедоваться и младенцев окунать в воду! А в ходы ходить, он же запретил.

— Так? Так! — соглашались триумвиры. — Батюшка прав, поделом вору.

— Ну, ин, будь по-вашему, — уступал краснобровый солдат, — только чтобы впредь, братцы, рук не марать, душегубством не заниматься, потому мы не турки, а православные.

— Знамо, православные! — одобряли оратора.

— Богородицыны ратнички! — подсказывал попик.

— Потому рук не марать, братцы, ни-ни! Ни Боже мой! Чтоб все было в порядке, тихо, в аккурате, потому мор в городе.

— Ладно! Ладно! Солдат дело говорит. Мор, во! Измором мрем!

— А ты, Малаша, не мешай, чего лаешь! — обратился оратор к собачке, которая стояла перед ним на задних лапках и желала привлечь его внимание. — Не мешай, Малаша, я дело говорю.

В толпе смех: иные уже хлебнули винца, веселые-развеселые.

— Ай да собачка, занятная! В науке была турецка штучка...

— Молчи! Не мешай! Солдат дело сказывают.

— Ну, ладно, — продолжал солдат. — Так перво-наперво, братцы, мы все эти карантеи по боку, чтобы невольникам было свободно.

— Разнесем карантеи! Ко псу их! Чтобы слободно...

— Перво-наперво, — кричал "гулящий попик", — Боголюбской Богородице молебен благодарственный справим соборне. Вот что, православные!

— Ладно! Ладно! Отдерем молебен, знатный, чтоб небу жарко было! К Богородице! К Богородице! — раздались пьяные голоса. — Ей, матушке, челом ударим.

— И к Иверской, братцы! Ее-то старуху, как же нельзя! Она старше.

"К Иверской! К Иверской!" — "К Боголюбской!" — "Карантеи к черту!" "Бани распечатать!" — "Кабаки... кабаки, братцы, тоже!" — встает гвалт, разноголосица. Никто никого не слушает. Тот кричит: "Кабаки!", тот "арантеи!", тот зовет "К Иверской, к старушке!", Ад, да и только! Совещание кончилось.

И толпа двинулась, как лавина. Впереди триумвиры — Бяков Савелий, Васька-дворовый, Илья-чудовидец, "гулящий попик", детина из Голичного ряда, рыжий с красными бровями, а за ними целое море голов, зипунов, рубах, чапанов, щек. Впереди радостно бежит Маланья, хвост кренделем, на небо лает.

А в Кремле опять заговаривает набатный колокол. Ему отвечают по всему городу, снова адский звон!

— Сполох, братцы! Живее в карантин!

— В Данилов идем! Там суконщики-невольнички, их выпустим!

— К суконщикам, ребята, в Данилов!

Толпа осаждает Данилов монастырь. Ворота заперты. Их защищает караульный офицер с несколькими солдатами. Осаждающие надвигаются лавой, держа в руках дреколья, шести и камни.

— Стой, разбойники! Чего вам надо! Прочь! Стрелять буду, — кричит молодой офицер, обнажая саблю.

Толпа осыпает несчастного каменным градом, это тот каменный дождь, о котором пророчествовал Илья-чудовидец. Офицер хватается за голову и падает с криком: "Убили! Умираю! Боже!"

Как бешеная, бросается на упавшего собачонка, лижет его в мертвенно-бледное лицо, по которому от

правого виска сочится кровь, и начинает жалобно выть.

Подбежал краснобровый солдат да так и всплеснул руками:

— Эх, ваше благородие, ваше благородие!

Солдат становится на колени, поднимает голову убитого, голова валится, свешивается. Острым камнем просажен висок, выше проломлен череп. Собачка жалостливо воет, она узнала своего...

— Эх, дьявола, дьявола! — не выдерживает рыжий и плачет. — Кого убили! Да эдаких и нету больше... Дьяволы, душегубцы! Эх, ваше благородие... ваше благородие, не удалось мне отслужить вам...

Он кладет голову несчастного к себе на колени, отводит от лба окровавленные волосы, заглядывает в глаза, которые еще так недавно искрились огнем молодости. Нет, не глядят! Перед глазами рыжего встает знойное утро на берегу Прута: они с хохлом Заброею копают могилу молодому другу вот этого, убитого, на смуглое лицо которого уже опустилось спокойствие смерти, что-то глубоко-задумчивое. И этому приходится копать могилу.

— Эх, ваше благородие! ваше благородие! — шепчет грубый солдатик, у которого доброе сердце так памятно на добро. — Эх, ваше благородие!

— Али знакомый? — спрашивают, подходя, убийцы.

Солдатик не отвечает. Толпа напирает на ворота и выламывает их. Внутри шум, возгласы. "Офицера караульного убили", — слышатся голоса внутри. "Поделом, не суйся не в свое дело". — "Ненароком убили..." — "А теперь вы все, братцы, вольные, иди куда глаза глядят..."

Внутри ограды раздается отчаянный женский крик... "Пустите меня к нему! Пустите!" И в ту же минуту из-за разбитых монастырских ворот выбегает молоденькая белокурая девушка, в вощаном платье и нарукавниках с белой пелеринкой и передником — это карантинная

сиделка. Она хочет броситься на мертвого и с ужасом останавливается: она вспоминает, что она карантинная, что она не должна прикасаться к другим, к некарантинным, к здоровым. Напрасно! К этому некарантинному можно прикасаться сколько угодно: его уже нельзя заразить.

Девушка упала на колени и протянула к трупам руки с плачем... "Боже, о-о! За что же это!"

— Эх, барышня, барышня! — шепчет солдат, а слезы с загрубелых щек да на грудь мертвецу — кап-кап-кап.

— Жив он? Дышит еще? — отчаянно спрашивает девушка.

— Нет, барышня, холоднехонек, — отвечает рыжий, прикладывая корявые пальцы к кровавому лбу.

Новый крик и стон! Но она все еще боится упасть на его грудь, она, несчастная, все еще надеется. Нет животного живучее надежды!

Из ворот, затираемые толпою, торопливо выходят мужчина и женщина. Это Лариса с отцом своим, доктором. Лариса также в платье карантинной сиделки: от белой пелеринки смуглое лицо ее кажется еще более смуглым, настоящий цыганенок.

Лариса молча становится на колени рядом с плачущей подругой и закрывает глаза... Плечи ее судорожно вздрагивают.

Отец нагибается к трупам, трогает его голову, руку, упавшую на окровавленную землю, прислушивается, не бьется ли сердце... Нет, не бьется!

— Бедный молодой человек! Только бы жить...

— Папа! Что он?

— Отошел... Успокоился навеки... Царство ему небесное!

Тут только бросилась со стоном несчастная "беляночка" на грудь того, от которого она все ждала, вот-вот скажет: "Я люблю тебя!" Нет, не сказал, так и умер, не сказал... И девушка дает своему милому

первый поцелуй тогда, когда милый уже не может отвечать поцелуем на поцелуй: губы его холодны. Следуя за носилками, на которых вносили дорогого, ей мертвеца в монастырские ворота, она с каким-то воплем в душе повторяла:

— Господи! Да что же это?

Подойду, подойду,  
Во Царь-город подойду,  
Вышибу, вышибу,  
Копьем стену вышибу,  
Вынесу, вынесу —  
Золот-венец вынесу...

А "Богородицыны ратнички", сделав свое дело в Даниловом монастыре, убив ни в чем не повинного юношу, Рожнова Игнашу, и распустив карантинных, многих с несомненными признаками чумы на теле, под неумолкаемый набатный звон двинулись в Кремль, распечатывая на пути торговые бани, снимая печати с запечатанных кабаков и раскрывая настежь их двери. По мере открытия кабаков росло смятение и дикое воодушевление. Один из триумвиров, Васька-дворовый, идя впереди с колом, которым он "ушиб" Амвросия, то и дело отхватывал вприсядку, а детина из Голичного ряда подпевал:

— Врешь! — перебивает его "гулящий попик". — Не так поешь: "Лисью шкуру вынесу, вынесу!" Вот как.

— Эх ты, мухов окорок! Лисью шкуру, не тебе ли, оборванцу?

С прежним шумом и гамом толпа ввалилась на Красную площадь. Там уже ждал их Еропкин на своем красивом аргамаче. На лице его далеко не было той уверенности, которой он поразил когда-то банщиков, приходивших к нему с челобитьем в Чудов монастырь. Он не спал всю ночь. Следы удара шестом и камнем

булыжным хотя не были видимы на теле, но давали себя чувствовать и боку и ноге, опиравшейся на красивое стремя. Лицо его как-то осунулось, постарело, почернело, потеряло цветность внутренней силы. Около него, тоже верхом на коне, нюхая воздух, своим горбоватым восточным носом, топтался царевич Грузинский, московский обер-комендант. Тут же, впереди небольшого строя пеших солдат, стоял третий всадник, знакомый нам конный офицер, который вместе с веселым доктором когда-то отбивал двери у дома миллионера Сыромятова, умершего с руками по локти в золоте. Это был Саблуков.

— А! Вон и его превосходительство, господин енарал Еропкин, мой крестничек, — сиповато прорычал Бяков, потрясая в воздухе шестом. — Я его ночью вот этой купелью кстил, — и он тряхнул своим огромным шестом.

— А моего миропомазания он еще не пробовал, — засмеялся Васька-дворовый, — я его помажу!

Еропкин уже не рискнул приблизиться к пасти зверя, а отрядил парламентаром царевича. "Да помягче с этими канальями, не сердите их, предостерегал он царевича. — Мы после свое возьмем с лихвой".

Царевич нерешительно тронулся с места, но видимо старался бодриться. На довольно почтительном еще расстоянии он остановился и махнул платком.

— Послушайте, братцы! Я хочу говорить с вами, — закричал он.

— Говори, говори, царевич! Ишь ты, "братцы" говорит... То-то! слышится в толпе.

— Говори, да не проговаривайся, — сипит Бяков.

— Для чего вы бунт учинили? Что вы делаете! — кричит царевич.

— А тебе какое дело! Мы делаем божеское, по-божески! За Богородицу мы!

— Замолчите, разбойники! Дайте говорить! — проговаривается царевич, плохой дипломат.

— А! "Разбойники!.." Бей его, братцы!

И камни засвистели в воздухе, достается и коню, и всаднику... Оторопелый парламентар скачет назад. Толпа за ним: рев поднимается такой, что перед ним армия дрогнула бы, кажется...

И Еропкин второй раз чувствует, что он солома, а что сила там, и притом страшная, хотя спящая сила, и не дай Бог разбудить ее.

Еропкин удаляется, чтобы заpastись силою против силы. Он скачет к Боровицкому мосту, где ожидали его солдаты с артиллерией: приходилось прибегать к пушке и к ружью, которые, к сожалению, доселе являются последним словом глупого человечества, ни на вершок еще не переросшего людоедов с одной стороны, когда с другой оно переросло богов.

С Боровицкого моста солдаты тихо вошли в Кремль и очутились лицом к лицу с той толпой "Богородицыных ратничков", которые пьянствовали, буйствовали там с ночи, разбивая не только винные погреба, ведра, штофы, но и дома, словно бы это были шкалики и рюмки. В то время, когда в пьяном озорстве они разносили по кирпичу дом одного немца-лекаря, который якобы здоровых людей брал в "проклятую карантею", слышалось что-то страшное.

— Слушать команду! Раз-два-три — пли! — прозвучал резкий голос, и в спины толпы зашлепало что-то невидимое со свистом и визгом.

Послышались еще неслыханные вскрики, оханья, стоны... Заметалась обезумевшая толпа. А тут новый звонкий окрик: "Ребята! В штыки!" И острые, аршинные, трехгранные иглы стали беспощадно прокалывать рваные чапаны, дырявые рубахи, полушубки и тела "Богородицыных ратничков".

— Ой, братцы, смерть! Караул!

Много повалилось свежих трупов под пулями и под ударами штыков из тех, кого еще не успела унести в

могилу чума. Много было стонов и проклятий.

Опомнившиеся толпы ринулись из Кремля Спасскими воротами, бросая мертвых и раненых. На Красной площади они нос к носу столкнулись с главными силами "Богородицыных ратничков", которые, по совету "гулящего попаика", отодрав наскоро, на почтовых, потому некогда, время горячее, так наскоро отодрав "махоньку литеишку с молебнишкой" у Варварских ворот да завернув к Иверской, — чтоб и ей, матушке, поклониться, теперь шли отнимать Кремль у Еропкина и посадить там дядю Савелия.

— Куда вы, тараканы? — кричал дядя Савелий. — Аль кипятком ошпарили?

— Там, братцы, бьют... всмертную... ружьем бьет солдат, — отвечали бегущие.

— А! Солдат бьет... Наш брат крупожор... Так и мы солдаты-ста: мы сами с усами. За мной, братцы!

И дядя Савелий, сверкая сивою косою своей, повел рати на приступ. Передние толпы ринулись в Спасские ворота. Все пространство разом было запружено массою тел, двигавшихся живою стеною в жерле длинных ворот, словно в туннеле, только торчали кверху приподнятые на руках да на кольях шапки, "потому что в воротах Богородица — шапки долой надоть".

Вот уже вползает из Спасских ворот в Кремль стоголовая главизна этого чудовища без шапок. Сзади прут тысячами, нога в ногу, сапог к сапогу, лапоть к лаптю, онуча к онуче, так вот и жмут животами. А в Кремле, против самых ворот, стоят "крупожоры", выстроились в струнку, ждут, не стреляют: должно быть, нечем стрелять али испужались "Богородицыных ратничков".

— Катай крупожоров! — кричит дядя Савелий с этой стороны ворот.

— Сомкнись! — кто-то с другой стороны, от Кремля, со стороны "крупожоров".



— Лупи их, изменщиков! — это от дяди Савелия команда.

— Направо-налево раздайся! — это команда оттуда, от Кремля.

Солдаты по команде раздвинулись, ряды их сомкнулись, разорвались, и из этой прорвы выглянуло черное жерло огромной пушки. "Богородицны ратнички" с удивлением глянули в это жерло и глазом не мигнули, потому не страшно: "Дыра какая-то там пустая, братец, черная, а рядом друга дыра, третья, все дыры пустые... пушечки... эко невидаль! Мы-де и кнутья видывали".

А там, у этих пушечек, кто-то пищит, куда до дяди Савелия. У дяди во какой голосина!

— Раз-два-три! Жги!

И жигануло же! Из пустых дыр с громом и дымом, мешками сыпанули чугунные орехи прямо в толлу. Картечь сделала свое дело: Боже мой! Сколько шапок валяется у ворот и в воротах, сколько голов, прошибленных насквозь, с выпущенными на мостовую мозгами! Сколько лаптей, сапог, мертвых и изувеченных тел, тело на теле, лапоть на лапте. А иная онуча так картечью к стене, словно гвоздем, пришита, мотается.

Не видать ни дяди Савелия, ни Васьки-дворового, ни Илюши-чудовидца, исчезли триумвиры. Один "первосвященник" остался на месте: "гуляющий попик" уткнулся прошибленной насквозь седою головенкою в чью-то чужую онучу и ручки врозь. В сторону торчит и косенка его, не вся выдранная Амвросиевым служкою-запорожцем. Пал "гуляющий попик" среди своих деток духовных: не литургисать уже ему больше, не петь ни акафистов, ни литеишек махоньких у Варварских ворот, не возглашать более над своими детками: "Житейское море!" Вон какое море крови кругом!

Нет больше ни проходу, ни проезду к Спасским воротам ни со стороны Красной площади, ни со стороны

Кремля, все эти священные московские дефилеи завалены мертвыми телами. А вон одно и не мертвое шевелится, поднимает курчавую русую голову, смотрит вверх на голубое небо, на кремлевские стены, на ворон, сидящих на стенах и смотрящих с карнизов на то, что тут валяется кучами в крови. Как далеко это голубое небо и как оно кружится... все кружится... и кремлевские стены кружатся, и куполы церквей, и вороны на стенах, и Иван Великий кружится, так ходенем и ходит по голубому небу. А со стены кто-то смотрит — такое темное, пасмурное лицо, такие большие всевидящие очи смотрят со стены, из потемневшего, бьющего в глаза золотом оклада. Кто это смотрит со стены? Ох, это Она смотрит, Она, сама Богородица, да так сурово, немилостливо! За что же? Ах, да, да!

Помнится, помнится что-то. Припоминает "курчавая голова" и шепчет:

— Мы за нее же. Матушка, стояли, а Она сердится. За что же? Ох, тяжело, голова кружится, воронье кружится. Иван Великий ходит, идет сюда, ах, упадет, упадет его колокольня на меня.

Бедный! Это краснощекий, недавно краснощекий, а теперь бледный, детина из Голичного ряда. Это он валяется, силится поднять свою русую буйную головушку, поводит кругом глазами — все мертвецы! Вон и он лежит, тоже мертвец, "попик гулящий", лежит и ручки врозь. А давно ли еще говорил он: "Лисью шубу вынесу, вынесу". Вот и вынес, только косенка торчит.

А небо все кружится, вороны закружились, Иван Великий зашагал, близко, близко наклоняется его колокольня, клонится и "курчавая голова", валится, валится, повалилась...

Теперь кругом все мертвецы, одна икона жива: она смотрит со стены неподвижно, столетия смотрит и все видит.

Но нет, не все мертвецы тут: "курчавая голова" опять подымается, смотрит кругом, в ворота смотрит и видит: от Красной площади тянутся черные, смоляные телеги, телега за телегой, а на них люди в черном с баграми и крючьями — целый караван телег. Протягиваются багры с крючьями, то там, то тут зацепят кого из тех, что лежит в Спасских воротах, труп за трупом вскидывают на телеги, полны уж телеги. Эко сколько мяса!

А вот крюк тянется и к "курчавой голове", близко, близко, задевает за штанину, тащит.

— Ох! Не трожь меня, я жив, ой!

— Мовчи, москаль! — лениво отвечает тот, что багром цепляется за штанину "курчавой головы".

— Ой, батюшки!

— Та мовчи ж, гаспид! От бисова московщина! Тай обридло ж мени тут, Господи! Сегодня ж утику до дому.

\* \* \*

Только к утру очнулись уцелевшие от погрома в Спасских воротах "Богородицыны ратнички". За то еще свирепее пошли они добывать Кремль и Еропкина. С небывалою свирепостью зазвонили опять и все сорок сороков московских храмов божьих. На каждой колокольне засело по десяти-двадцати звонарей. Теперь уже шли на приступ все силы Москвы, шли и некарантинные, и карантинные, которых повыпускали вчера "из неволи". Неязвенное смешалось с язвенным, дреколья смешались с ружьями и топорами, надо было ждать страшного дела.

Но и Еропкин не спал. Он успел вытребовать в город весь Великолуцкий полк, который, из боязни чумы, стоял за тридцать верст от Москвы. Самого графа-развалину оторвали от его собачек и привезли в Москву в полном беспамятстве; его привезли, конечно, не для распоряжений, а как атрибут власти, как аргумент.

За звоном колоколов не слышно было команды, и Еропкин должен был передавать свои приказания сигналами, маханьем платком, поднятием рук и маханием сабли. Он встретил толпу у Голичного ряда. Толпа была ужасна, и в первом же натиске солдаты дрогнули, несмотря на огонь ружей и на картечные залпы, брошенные в кучу живых тел.

В это время за голичными рядами раздался новый крик: то Великолуцкий полк, зашедший в тыл толпы, открыл огонь в спины "Богородицыных ратничков". Залп следовал за залпом, и пока весь полк разрядил свои ружья, за трупами уже не было ходу, живые шагали через головы мертвых, и остервенение первых росло при виде последних. Но живых все еще оставалось больше, чем мертвых, и Еропкин видел это, и его живое лицо подергивалось судорогами: он терялся.

Кто-то подскакивает к Еропкину и делает ему знаки рукой, потому что за звоном все равно ничего не слышать.

— Что, доктор? — спрашивает Еропкин во весь голос.

— Звонариков бы, ваше превосходительство, тово, — отвечает веселый доктор, указывая на колокольни, — пока они звонят, Москву все армии российские с Румянцевым и Суворовым не осияют.

Доктор был прав, и Еропкин приказал "снять звонарей с колоколен живыми или мертвыми".

Сделаны были еще залпы целым полком и всею артиллерию: на этот раз пули и картечь, пробив в рядах толпы целые переулки, заставили массу дрогнуть, тем более что и ближайšie колокольни сразу умолкли.

Звонари оказались до того люты, что руками и зубами впивались в колокольные веревки, и освирепевшие солдаты сбрасывали их с колоколен на головы толпы. Тогда только последняя поняла, что дело ее проиграно.

— Да, вы хороший стратег, доктор, — сказал Еропкин веселому доктору, видя, как толпы частью бросились бежать врассыпную, частью же, побросав колья и топоры, безмолвно сдавались солдатам, — кто хочет овладеть Москвою, тот должен прежде всего взять колокольни.

А доктор уже бегал по этому аду, стараясь найти живых между сотнями мертвых.

Да, покойный "гулящий попик" был прав. То, о чем поведал попу Мардарью неведомый "пифик", сбылось: по Москве прошел и мор, и каменный дождь, протекла также, вместо огненной, кровавая река, по которой и бродил теперь "веселый доктор".

## V. НЕБЫВАЛЫЙ МАНИФЕСТ

Ранним утром, 21 сентября памятного для России 1771 года, императрица Екатерина II Алексеевна, с небольшою книжкою в руках, сойдя в сад по внутренней садовой террасе царскосельского дворца, направлялась, предшествуемая своей собачкой Муфти, в глубину парка, на богатую зелень которого осень уже налагала свою безжалостную руку. Императрица одета была в серый просторный капот, подпоясанный у талии шелковым сиреневым, с кистями такого же цвета, шнуром, и в высоком утреннем чепце со сборками. Она шла задумчиво, по временам делая движения указательным пальцем опущенной книзу правой руки, как бы мысленно на что-то указывая или отмечая и подчеркивая. Видно было, что эти подчеркивания мысли делались в ее озабоченном мозгу невольно и отражались на спокойном, сосредоточенном лице и в светлых, с двойным каким-то светом глазах.

Тонконогая и тонкомордая собачка, забегающая вперед, часто возвращалась к своей госпоже, заглядывала ей в глаза, виляла хвостом, как бы желая сказать, что "ведь и я, матушка, тоже озабочена за тебя, тоже, дескать, вижу, что ты подчеркиваешь что-то в уме, и я вот подчеркиваю хвостом, да только не ведаю, что оно такое", но, видя, что хозяйка не обращает на нее внимания, она опять убегала вперед, желая показать свою ревность по службе, обнюхивала каждый кустик, накидывалась на каждого воробья, который осмеливался прыгать по царской дорожке — и снова, с чувством исполненного долга, возвращалась к императрице. Но та опять не обращала на нее внимания.

Вдруг в одном густом кусте акаций замяукала кошка, да так резко, что собачка даже припрыгнула от изумления.

Вот сюрприз! Кошка в царском парке! Собачонка и ушам своим не верит.

Кошка опять замяукала. Собачка неистово бросилась на куст и начала лаять что есть мочи: "Нашла! Нашла врага!" — слышалось в ее усердном лае. И собачка счастлива: она обратила на себя внимание императрицы. Мало того, даже часовой, вытянувшийся там где-то в струнку и издали сделавший ружьем на караул, и он добродушно улыбался, поглядывая почтительно то на императрицу, то на собачку, то на предательский куст.

— Не трогай ее, Муфти! — сказала императрица, приближаясь. — Она тебя оцарапает.

Собачонка залаяла еще неистовее, да так и уткнула морду в куст. Но вдруг она завиляла хвостом, запрыгала, да так радостно, что саму императрицу занял этот восторженно виляющий хвост.

— Что, Муфти, кошка там?

Кошка снова замяукала и фыркнула. Собачонка закувыркалась от радости и бросилась к императрице.

— Чему рада, глупая собака?

Собачонка восторженно залаяла, желая что-то объяснить, но, не имея другого органа гласности, кроме хвоста и бестолкового языка, она только закувыркалась.

— Верно, знакомая кошка?

Но из куста вдруг показалась голова в напудренном парике и снова замяукала. Часовой невольно фыркнул, сцепив зубы.

— А! Это ты, повеса, — весело сказала императрица. — Вот наделал тревоги Муфти.

Из куста во весь рост встал мужчина в одежде придворного сановника.

— Опять за старое принялся, проказник? — продолжала императрица, ласково улыбаясь.

— Как за старое, матушка-государыня? — отвечал царедворец, кланяясь.

— За мяуканье...

— Помилуй, матушка-государыня, это самое новое, самое новое дело мяуканье, даже, можно сказать, государственное дело, — отвечал вельможа.

— Как государственное, повеса?

— Да как же, матушка, не государственное: ныне коты во времени.

Императрица бросила на него лучи двойного света из своих немножко расширенных зрачков и, улыбаясь, ждала объяснения шутке.

— Да как же, матушка! Вон киевский кот сколько тревоги наделал тамошнему генерал-губернатору Федору Матвейчу Воейкову.

— Да, да, тумульту наделал изрядного.

— Как же-с! А султан турецкий, сказывают, этому Ваське-киевскому, за учинение им зла врагу султанову — великой царице северной Пальмиры, обещал прислать орден шнурка, коли Васька останется цел.

Императрица задумчиво улыбалась.

— Ах, Левушка, Левушка, ты все такой же повеса остался, как тогда, помнишь, еще в молодости.

"Повеса" или "шпынь", как его называл Фонвизин, Лев Александрович Нарышкин, или вернее "Левушка", комически махнул рукой, — конечно, на молодость...

В это время по аллее показались две фигуры, торопливо шедшие по направлению к императрице. В руках одного из них была папка с бумагами, у другого — небольшая чернильница, утыканная перьями и карандашами.

— А! Кровопийцы идут, мухи государственные, что вам, матушка, и дохнуть не дадут, всё на ухо жужжат, — заметил Левушка, гримасничая.



— Да, Лева, много нам дела, теперь не до мяуканья,  
— грустно сказала императрица.

Пришедшие были неизменные докладчики наиболее важных дел по внутреннему государственному управлению, генерал-прокурор князь Вяземский и генерал-фельдцейхмейстер граф Григорий Орлов.

Они издали почтительно поклонились императрице и остановились.

— С добрым утром, — ласково сказала государыня, — что же вы не идете?

— Не смеем, ваше величество, приблизиться, — тоном пасмурного сожаления отвечал Вяземский.

— Почему же так? — несколько дрогнувшим голосом спросила Екатерина.

— Бумаги с нами, государыня, из неблагополучного места, из Москвы, отвечал Орлов.

— Что же такое? Что там? — еще тревожнее спросила императрица.

— Простите, ваше величество, — нерешительно заговорил Вяземский, курьеры прискакали из Москвы с эстафетами экстренными.

— Давайте же их мне, — рванулась императрица.

И Вяземский, и Орлов несколько отступили назад. Они казались смущенными. Императрица заметно побледнела.

— Что же, наконец, там? Давайте бумаги!

— Выслушайте, государыня, и не извольте тревожиться, — по-прежнему, не торопясь, начал Вяземский, — зная ваши матернии попечения о своих подданных, для блага коих вы готовы жертвовать вашим драгоценным здоровьем, мы осмелились не допустить этих эстафет до ваших рук, трепеща за вашу жизнь, и сами вскрыли их, приняв должные предосторожности. По тому же самому мы и не осмеливаемся приблизиться к особе вашего величества.

— Благодарю, благодарю вас, но я желаю знать, что же там, — несколько покойнее сказала Екатерина.

— В Москве неблагополучно, ваше величество. Вот что доносит Еропкин.

Императрица вошла в ближайший павильон, а за нею и докладчики. Князь Вяземский развернул бумагу и погрозил собачке, которая хотела было к нему подойти. Тогда Левушка взял собачку за ошейник и уложил на ближайшую скамейку: — Куш-куш, не подходи к ним, они бука.

Вяземский откашлялся и начал читать:

— "К беспримерному сожалению, ожидание превосходящей бедства и ужаса наполненный случай необходимо обязывает меня, всемилостивейшая государыня, и сверх моего рапорта генерал-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, как своему собственному командиру, все нижайше представить и от себя о том происшествии, которое подвергало столичный вашего императорского величества город наисовершенному бедствию, состоящий в том, что народ, негодуя доднесь на все в пользу их повеленные от вашего императорского величества мне учреждения о карантенах и других осторожностях, озлились как звери, и сего месяца 15 дня сделали настоящий бунт, вбежав в Кремль и разоряя архиерейский дом, искали убить оного. Но, как съехал сей бедный агнец скрытно в монастырь Донской, то выбежав и туда в безмерном пьянстве, злодеи до трехсот, 16-го поутру, убили оного мучительно до смерти".

Екатерина в ужасе всплеснула руками: "Боже мой!" Она была бледна. Зрачки глаз расширились.

Все молчали.

— Ну, что же еще? Прошу, продолжайте, — в голосе ее слышались слезы.

Вяземский продолжал, но так тихо, что едва слышно было:

— "Карантены учрежденные разорили, выпустя из Данилова монастыря и из другого двора, состоящего на Серпуховской дороге, разбив дубьем и камнями стоявшего на карауле офицера, сопротивлявшегося им, как и подлекаря, в одном их тех карантенов находившегося; а другие из злодеев, вбежав в Кремль, пробыли там всю ночь и до половины дня, бив в набат везде, разоряя и дом доктора Меркенса. В злодействе сем находились боярские люди, купцы..."

— И купцы, — задумчиво повторила императрица.

— "...подьячие и фабришники, — не останавливался Вяземский, — а особливо раскольщики, рассевая плевелы, что они стоят за Богородицу, нашед образ на Варварских воротах, сказывая, что он явленный, которому толпами ходят молиться. Архиерей несчастливый, видя, что от такой молитвы заражаются опасною болезнью, послал своего эконома и секретаря запечатать ящики денежного сбора: и произвело, всемилостивейшая государыня, вышеупомянутое смятение..."

— Что же он сам, Еропкин, делал, я не вижу, — хмуря брови, говорила императрица.

— Он далее доносит о сем, государыня, — успокаивал ее Орлов.

— Ну, вот и счастливы и семьдесят первый год! — качала головой Екатерина. — Счастливый!

— Еропкин, государыня, пишет: "Я, видя злключительное состояние города, послал тотчас ко всем здесь находящимся гвардии офицерам с командами, объявляя им высочайший вашего императорского величества указ, чтобы они мне повиновались, отправя в то же самое время нарочного к генерал-фельдмаршалу в подмосковную..."

— Я так и знала, что он с собачками там.

Ее собственная собачка, услышав о собаках, запрыгала около нее.

— Пошла, Муфти, не до тебя теперь. Плохое дело — верить государство выжившим из ума старикам. Ну, прости, князь, я тебя все перебиваю.

Вяземский поклонился и продолжал:

— "...в подмосковную, который уж и приехал, и Великолуцкий полк ввел в город, дав свою диспозицию обер-полицмейстеру, в каких местах занять пост для истребления злодеев, потому что я в эту ночь, в которую выгнаны были мною разоряющие Чудов монастырь возмутители, спеша истреблять оных, от одного из сих дерзостных, брошенным в меня шестом, а от другого камнем в ногу вытерпел удары"...

— Бедный, ну...

— "...и быв двое суток безвыходно на лошади, объезжая разные места города, совсем ослабел, и не имея чрез все то время ни сна, ни пищи, в крайнее пришел бессилие, получа от того и пароксизм лихорадочный и, наконец, теперь принужден уже слечь в постель, быв здесь в то время один только с губернатором московским, потому что все другие господа сенаторы разъехались".

Екатерина покачала головой, но ничего не сказала, а Левушка как бы про себя прибавил: "И я бы удрал, наверное".

— "Соединяя к командам гвардии за раскомандированием оставшихся пятьдесят человек Великолуцкого полка и набрав не больше ста тридцати человек, причем были некоторые и из статских для смотрения, что с корпусом, мною предводительствуемым, случится, пошел где не одна тысяча была пьяных, разорявших архиерейский дом и погреба купеческие, под монастырем Чудовом состоящие, произведя такую наглость, что в Кремль и проехать никому было невозможно. И хотя увещевал я

изуверствующим, посылая к ним здешнего обер-коменданта, генерал-поручика, Грузинского царевича, они встретили его камнем, как равномерно и бригадира Мамонова, который для того же увещеванья приезжал, чрезвычайно разбили голову и лицо. И так сия дерзость заставила меня, всемиловейшая государыня, действовать ружьем и сделать несколько выстрелов из пушек и истреблять злодеев мелким ружьем и палашами. В Кремле их пало человек не меньше ста да взято под караул двести сорок девять человек, из которых несколько находится со стреляными и рублеными руками, и хотя они, от того устрасясь, разбежались, но и вчерашний день на Варварской улице..."

— А которого числа пишет Еропкин? — спросила императрица.

— Осемнадцатого, государыня, — отвечал Орлов, до того молчавший.

Екатерина кивнула головой и начала что-то считать по пальцам.

— Я слушаю, — сказала она.

— "...на Варварской улице и против Красной площади несколько шаек народу было, однако ж на бросание камней и шестов отважиться уже не смели и только требовали у стоявшего на Спасском мосту подле учрежденного там пикета здешнего губернатора, чтоб отдали им взятых под караул их товарищей, а притом, чтобы без билетов хоронить и не вывозить в карантены".

Вяземский остановился, он кончил.

— Чего они так не любят билетов? — спросила императрица.

— Они, матушка, хапанцев не любят, а не билетов, — улыбнулся Левушка.

— Каких хапанцев?

— Хапен зи гевезен.

И Левушка сделал такой жест, как это "хапен" делают, что даже серьезный Вяземский улыбнулся.

— Хапен зи гевезен, барашка в бумажке, — пояснил Левушка.

— Ну, будет дурачиться, не до того теперь...

— Еропкин еще пишет, государыня, — подсказал Орлов, которого, по-видимому, беспокоила какая-то мысль. — Он просит отставки.

— Отставки? Теперь именно! — воскликнула императрица, вставая с места и вопросительно глядя на присутствующих. — Значит, там хуже, чем как пишут.

— Хуже, государыня! — тихо сказал Орлов.

— Что же еще пишут? Докладывайте всё разом: не бойтесь, не упаду в обморок. Я уже десять лет царствую. Благодарю Бога, все вынесла на своих плечах. Бог поможет, вынесу и это...

Она ходила, ломая руки, то подходя к докладчикам, которые пятились от нее, то делая круги по павильону. Светлые глаза ее полиняли, "сбежали", как говорится о линючем ситце.

— Девятнадцатого числа, ваше величество, Еропкин доносит, — снова начал Вяземский: — "Сколь злоключительны нынешние обстоятельства Москвы, о том вчерашний день по эстафете..."

— Когда же эта пришла? — обратилась императрица к Орлову.

— Через полчаса или менее после той, ваше величество... Этот курьер загнал лошадей...

— А! Узнать его имя. Дальше.

— "...я всеподданнейше доносил уже вашему императорскому величеству, а сим то еще всенижайше представить не пропускаю, что хотя дерзость явно произведенная в злодейском убийстве московского архиерея отчасти возмутившегося здешнего города мною и истреблена, и три дня прошло здесь в желанном спокойствии, но слухи, однако ж, с разных сторон

доходящие до меня, всемилостивейшая государыня, одно мне приносят уведомление, что оставшее от злочестивых совещателей устремление свое во всей силе имеют всю зверскую их жестокость обратить на меня, обнадеживая себя, что они убийством меня и всех докторов скорей получают свободу от осмотров больных, от вывода в карантен, а притом и хоронить будут умерших внутри города, считая, что будто и тому я причиною, смущаясь притом и недозволением в бани ходить, грозят тем и подполковнику Макалову, у которого карантенные дома состоят в смотреии. Ожесточение предписанных злодеев так было чрезвычайно, что они не только кельи архиерейские, но и его домовую церковь, как иконостас, так и всю утварь совсем разграбили. Вышеобъясненные неудовольствия и угрозы злочестивых людей, как лютых тигров, от безрассудства их на меня пламенеющие за то одно, что я здесь в сенате и во всем городе один рачительным исполнителем всех тех учреждений, о которых вашему императорскому величеству высочайшими своими повелениями о карантенах предписать мне благоугодно было. Но вся жестокость злонравных людей, каковую по совещанию вкоренили они в свои грубые сердца, не имела силы ни умалить моей прилежности к порученному мне от вашего императорского величества делу, ни ужас..."

— Ну, ну, это слова. Я их давно знаю... Прочтите мне дело, нетерпеливо сказала Екатерина.

Вяземский пробежал бумагу глазами.

— Он смущается, государыня, чтобы злодеи в теперешней его расслабленности не навлекли на него участи покойного архиерея, проговорил Вяземский.

Императрица слегка нахмурила брови и бросила взгляд на Орлова.

— Он просит увольнения на время, — поторопился Орлов, — он говорит, что одно отрешение его от дел в

состоянии будет успокоить безумную чернь.

— А! Понимаю... — и глаза ее сверкнули по-прежнему, — значит, мы должны уступить черни...

Все молчали, чего-то тревожно ожидая.

— Да? Так? — обратилась она к Вяземскому. — Уступить нам?

— Ни за что, ваше величество! — с силой сказали оба докладчика.

Императрица улыбнулась как-то странно.

— А я полагаю, что мы должны уступить, — сказала она твердо.

Все переглянулись: никто не находил, что сказать. Нашелся один Нарышкин.

— Тягучее золото, матушка, всегда уступает в грубости и неподатливости мерзкому чугуну, — играя с собачкой, вставил невинную лесть хитрый Левушка.

— Правда, правда, Левушка! — и императрица одобрительно кивнула головой своему "шпыню". — Но кого же мы пошлем на место Еропкина? спросила она, ни к кому не обращаясь.

Все молчали.

— Меня, матушка, — сошкольничал Нарышкин.

Но Екатерина даже не взглянула на него.

— Я себя пошлю! — сказала она решительно.

Орлов встрепенулся. Вяземский спрятал свои лукавые глаза, которые как бы говорили: "Хитрить изволите, матушка... Вы очень, очень умны, но и мы ведь не мимо носа нюхаем".

— Государыня! — возвысил голос Орлов. — При подписании первого манифеста о моровой язве вы изволили вспомнить Орловых...

Государыня милостливо взглянула на него, и глаза ее выразили ожидание...

— И я, матушка, желаю иметь свою Чесму, — продолжал Орлов, — мне завидно брату Алексею.



Говоря это, он смотрел в землю, ожидая ответа императрицы, и по мере того, как она медлила с ответом, он бледнел. Нарышкин же между тем шалил с Муфти, повязывая ей голову шелковым фуляром, что делало собачонку похожею на старушку.

— Быть посему! — сказала, наконец, императрица после томительного молчания. — Но я сама должна говорить с Москвою.

— Манифестец, матушка, я живо настрочу, — снова заговорил Нарышкин.

— Нет, Левушка, ты мастер в комедиях да в сатирах, а манифест мы и без тебя напишем, — сказала императрица.

Она встала и последовала ко дворцу, сопровождаемая докладчиками и Нарышкиным с собачкою.

Войдя в кабинет, она тотчас же приказала Вяземскому сесть за сочинение манифеста.

— Да поискуснее: смотри, батюшка-князь, а главное, покороче, для черни, — добавила она. — Дело щекотливое.

Когда Вяземский уселся писать, императрица позвонила. Вошел угрюмый лакей, очень любимый Екатериною за его честность и даже ворчливость.

— Здорово, Захар! Позови Марью Саввишну.

Захар поклонился и начал укоризненно качать головой...

— Что, Захар, чем я перед тобой провинилась? — спросила, улыбаясь, императрица.

— Да как же тебе, матушка, не стыдно! Точно у русской царицы слуг нет. Встала нынче ни свет ни заря, когда еще девки дрыхнули, да сама и ну шарить, одеваться, чтоб только не тревожить этих сорок, прости Господи! Да и надела капотишко-то во какой! Ветром подбитый, а на дворе-то холодно. Эх! А тоже русская царица!

— Ну, виновата, Захарушка, никогда не буду.

Захар махнул рукой и угрюмо удалился. За ним вошла средних лет женщина, с полным и, по-видимому, добродушным лицом, лицом совершенно простой русской бабы, но тоже с двойным, гарнитурового цвета блеском в серых глазах.

— Вот что, Марья Саввишна, — сказала императрица вошедшей женщине, вели мне голову сейчас же чесать, да только без пудры. А то вчера просматривала я счета и нашла, что на мою голову в год выходит пудры 365 пудов, по пуду на день. А я все не догадаюсь, отчего это у меня голова так тяжела, а это от пудры.

Марья Саввишна добродушно засмеялась: но этот добродушный смех должен был ножом пройти по сердцу того, кто подал императрице счет о пудре.

— Что же, матушка-государыня, твоя головка не простая, оттого и пудры на нее столько идет, — болтал Нарышкин, продолжая играть с собачкой. — Вот блаженной памяти царю Петру Алексеичу тоже раз подали счетец. Однажды, просматривая работы на рейде, он изволил промочить себе ножки.

— Уж и ножки, — улыбнулась Екатерина.

— Точно так, матушка, ножки, — продолжал Нарышкин, — и сделался у его величества насморк. Государь тут же приказал подать ему сальную свечу и помазал нос. Ну, с тех пор по счетам адмиралтейств-ревизион-цухт-конторы и показывали по пуду свечей в сутки на насморк государя.

— Ну, Левушка, уж это ты сам сочинил, — заметила императрица, поглядывая на Вяземского, который усердно писал, часто потирая себе то лоб, то переносицу, как бы выдавливая изо лба самые энергичные выражения.

Наконец он положил перо.

— Готово? — нетерпеливо спросила императрица.

— Готово, ваше величество, — отвечал Вяземский, делая на бумаге поправки, — не знаю только, как изволите найти мое сочинение.

— Послушаем. Ну, начинай, сегодня манифест должен быть напечатан и отправлен.

Вяземский начал: "Божиею милостию..."

— Хорошо, хорошо. Текст-то как начинается? — нетерпеливо перебила его императрица.

— "Взирая с матерним прискорбием и негодованием..."

— Будет! Будет! — остановила чтеца Екатерина, вставая с распущенными волосами и подходя к столу, за которым сидели Вяземский и Орлов (последний просматривал папку своих докладов). — Ты не понял меня, князь. Ты прямо с чугуна начинаешь.

Вяземский встал и хладнокровно ждал разъяснения слов государыни: он знал, что она принимала иногда совершенно неожиданные решения, когда забирала себе в голову, и решения эти были умны.

— "Негодование"! Да тут о негодовании и помину не должно быть! говорила императрица, тревожно ходя по кабинету. — Ты их, чего доброго, и бунтовщиками назвал.

— Да как же, государыня, ведь они бунтуют? — настаивал Вяземский.

— Мои дети не бунтуют! Они могут ошибаться, огорчать меня, но никогда не бунтуют! Еще неизвестно, как дело было, а мы уж и бунтовщикам в манифесте место отводим. Может, еще и Еропкин что по горячности и из усердия напутал, а то и покойный Амвросий, а мы всё — на народ. Не забудьте, он стоял за Богородицу!

Императрица говорила горячо, постоянно откидывая назад волосы и засучивая рукава капота. Лицо ее покрылось краской. А Вяземский стоял по-прежнему и

прятал глаза, потому что они говорили: "Ох, умна, умна! Умно хитрит. У! Умница!"

— Садись, Алексеич, и пиши, я сама продиктую, — сказала, наконец, Екатерина, отдавая свою голову в распоряжение камеристок. — Пиши: "Всем и каждому, кому о том ведать надлежит, наше монаршее благоволение".

— Благоволение! — не утерпел Вяземский. — Это бунтовщикам-то и злодеям!

— Ну, добро. Кто не был в царской шкуре...

— В порфире, матушка, — подсказал Нарышкин.

— В шкуре, Левушка, кто не был в ней, тот и не поймет царя. Не строгость побеждает, а милость. Так пиши, знай: "Видя прежалостное состояние нашего города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивых болезней, мы бы сами поспешно туда прибыть за долг звания нашего почли, есть ли бы сей наш поход по теперешним военным обстоятельствам самым делом за собой не повлек знатное расстройство и помешательство в важных делах империи нашей. И тако не могли делить опасности обывателей и сами подняться отсель, заблагорассудили мы туда отправить особу от нас поверенную, с властью такою, чтобы, по усмотрению на месте нужды и надобности, мог делать он все те распоряжения, кои ко спасению жизни и к достаточному прокормлению жителей потребны. К сему избрали мы (императрица ласково, но зорко взглянула на Орлова), по нашей к нему отменной доверенности и по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и отечеству, нашего генерал-фельдцейхмейстера и генерал-адъютанта графа Григория Орлова, уполномочивая его поступать во всем так, как общее благо того во всяком случае требовать будет, и отменять (на этом слове императрица сделала особенное ударение), отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или не

вместно, или не полезно, и вновь устанавливать все то, что он найдет поспешествующим общему благу. В чем во всем повелеваем не токмо всем и каждому его слушать и ему помогать, но и точно всем начальникам быть под его повелением, и ему по сему делу присутствовать в сенате московских департаментов; прочие же присутственные и казенные места имеют исполнять по его требованию. Запрещаем же всем и каждому делать какое-либо препятствие и помешательство как ему, так и тому, что от него повеленно будет, ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, чтоб прекратить, колико смертных сила достает, погибель рода человеческого, имеет в том поступать с полною властью и без препоны".

Императрица остановилась. Вяземский продолжал держать перо над бумагою. Орлов был бледен: он думал о трудном... "Кто же? Кто же?.. иногда невольно и неслышно шептали его губы. — Разве... Потемкин".

— Все! — сказала императрица, вставая.

— Все... и ни слова о бунте, — изумленно бормотал Вяземский, — еще им же, негодяям, монаршее благоволение. Да такого манифеста сроду не было ни к кому, а тем паче к бунтовщикам.

Один Нарышкин, все время возившийся с собакой, понял Екатерину. Он упал перед нею на колени и целовал подол ее капота.

— Матушка! Матушка! — говорил он с восторгом. — Ты мудрейшая из всех царей земных, ты великая сердцевица. Так и меня спасли когда-то, как ты спасаешь ныне Москву. Когда мне было лет пятнадцать, я из отроческого молодечества стал пить, и пил по ночам, тайно от отца, которого я трепетал. Сия пагубная страсть чуть не погубила меня совсем: я доходил до тременса. Отцу и донесли о сем холопы. Отец и виду не показал, что знает мою преступную тайну, но за первым же обедом говорил мне: "Лева, ты

уже большой мальчик, чокнемся с тобой. Привыкай к жизни, привыкай и к вину. Пей, как все мы, взрослые". Признаюсь, я заплакал и бросился батюшке на шею. Никогда я не любил его так, как в сей момент. И поверишь ли, матушка, я стал человеком, каким ты и знаешь меня давно.

— Ты хороший человек, Левушка, — ласково сказала императрица.

— А ты — величайшая женщина и мудрейшая монархиня!

— О! Левушка! Ты всегда меня баловал...

И, погрозив Левушке пальцем, императрица удалилась.

## VI. КОНЕЦ ЧУМЫ

Снова звон колоколов над Москвой, но уже не набатный, а унылый, похоронный. И в каком-то особенном, глубоко потрясающем душу порядке идет мрачно торжественный перезвон, словно стонет бесконечно великая медная, но живая человеческая грудь. Сначала застонет Иван Великий, и тоскливо пронесется с высоты Кремля по всей Москве это страшное металлическое стенание, а за ним застонут ближайшие церкви, потом дальнейшие, и стон этот идет от центра города к окраинам, а потом снова возвращается к центру, и снова тот же круговой стон. Можно подумать, что вся Москва, наконец, вымерла, и это Москву хоронит кто-то невидимый.

Нет, это Москва хоронит своего архиепископа, новоубиенного Амвросия.

На кладбище Донского монастыря, на краю двух свежерытых глубоких могил, стоят на "марах" два гроба. В одном гробу лежит ч т о-т о в архиепископском облачении со всеми принадлежностями святительского сана. Ч т о-т о лежит, потому что лицо лежащего в гробу закрыто пеленою. В другом гробу лежит ч т о-т о в полном архимандричьем облачении, и тоже с закрытым пеленою лицом.

В первом гробу лежит Амвросий, во втором — его брат Никон.

Около могил с одной стороны стоит целый сонм духовенства в черных ризах, с другой — власти и зрители. Тут же у первого гроба и граф Орлов, такой глубоко задумчивый, задумчивый в себе, словно бы думы его были далеко от этого гроба, от этой могилы. Да, они далеко: они носятся где-то над Дунаем, около красивой, гордой головы того, которому вот этот

лежащий в гробу мертвец помогал когда-то "рублями" и "полтинами" и который теперь, как "князь тьмы", начинает затмевать славу Орловых...

Немножко поодаль стоят и безмолвно, но с какой-то невыразимой нежностью в глазах, смотрят в разверстые могилы две молодые девушки в траурной одежде больничных сиделок. Это — Лариса и Настя, мысли которых тоже не здесь: одной — где-то у неведомого Прута, другой — на кладбище Данилова монастыря, и обе что-то вспоминают: одна — светло-русую головку, от которой локон вот тут, на груди; другая вспоминает "сенцы" и бестолково щелкающего соловья.

За ними виднеется кругленькая фигурка и живое, с добрыми глазами лицо веселого доктора. И на его добром лице легкая дума и еще что-то новое. Он тоже о чем-то вспоминает...

Обряд отпевания кончен, и слышится только под стон всех московских церквей надгробное слово, которое не все слушают, занятые своими мыслями, может быть, своими надгробными словами.

— Видя вас, печальные слушатели, — возглашает оратор, — с особенным сердцем соболезнованием гробу сему предстоящих и сам сострадаю, что к утешению вашему сказать теперь могу я, несчастный проповедник! О, времена! О, нравы! О, жизнь человеческая, океан перемен неизмеримый!

А слушатели то слушают и сострадают, то задумываются о себе...

Но внимание слушателей неожиданно привлекает звон кандалов где-то тут вблизи. Это ведут кого-то сюда. Толпы раздвигаются, а кандалы звякают все ближе и ближе, да звякают так отчетливо по душе и по сердцу, что этого звяканья не может заглушить протяжный, стонущий звон всех московских колоколов.

Это ведут колодников в цепях, проститься с тем, кого они убили в своем темном неведении. Но как они все



изменились! Вон впереди всех гремит лошадиными железными путами Савелий Бяков. Куда девалась его длинная седая коса? Вместо нее — белая, как лунь, гладко обстриженная голова. Остался один его гигантский рост, да и то видна уже старческая сгорбленность. За ним в кандалах Васька-дворовый, что еще не так, казалось бы, давно вприсядку плясал, идя на приступ к Кремлю, и он постарел. И Илюша-чудовидец сгорбился, погромыхая железом.

Тут же гремит кандалами и рыжий с красными бровями солдат. Как мало теперь напоминает он того, который, подсмеиваясь над хохлом Заброею, копал могилу молодому сержантику на берегу Прута!

Приводят и других колодников, становятся у могил в виду обоих гробов.

И проповедник обращается к ним с своим глубоко правдивым по чувству, но не по существу укором.

— О, бесчеловечные души! — продолжает проповедник свое слово, протягивая руки к колодникам. — Послушайте гласа вашего пастыря, из гроба с умилением к вам вопиющего.

И он указал рукою на первый гроб. Арестанты невольно взглянули на него. Гигант-солдат глянул и в ближнюю могилу и потупил глаза, а рыжий перекрестился, звонко звеня ручными кандалами. Глаза веселого доктора тоскливо взглянули на него.

— "Людие паствы моя! — взывает сей во гробу лежащий. — Людие паствы моя! Что сотворих вам, яко тако ожесточиста на мя сердца ваши? Сего ли я от вас ожидал воздаяния?"

Из-под красных бровей текли слезы и разбивались в мелкие брызги о железные кольца наручней.

— "Людие паствы моя! Что сотворих вам? Я прилагал заботы о сохранении от бича божия жизни вашей, а вы у меня мою старческую жизнь отняли мучительно. Или вы не слышите доселе в глубине

сердец ваших, как влекомая за волосы седая голова моя колотится о помост церковный, который был, ради вашего спасения, весь облит моими слезами? Али не слышится вам, как старые кости мои, ломимые дрекольем вашим, хрустят в смертных мучениях? За что же? Что сотворил я вам, людие паствы моея?"

— О, будет! — рыдает кто-то позади толпы.

Даже гигант седой не выдерживает: падает на колени.

Наконец, надгробное слово кончено. Все вздохнули: так мучительно долго раздавался этот возглас, словно бы в самом деле из гроба: "Людие паствы моея! Что сотворих вам?"

Стоящий рядом с проповедником протодиакон возглашает:

— Блаженные и вечно достойные памяти преосвященному Амвросию, новоубиенному архиепископу московскому и калужскому вечная память!

— Вечная память! — повторяют все вместе с клиром.

— Блаженные памяти преосвященного Амвросия, архиепископа московского и калужского злочестивым убийцам анафема! — вновь возглашает протодиакон.

— Анафема-анафема-а-на-фе-ма! — повторяет клир.

Преступников уводят. Сивоголовый великан, уходя, еще раз заглянул в глубь могилы: любопытно!

Гробы опустили в могилы. Застучали комья земли о крышки, уже заколоченные. А слышат ли те, что там лежат под гробовыми крышками, этот стук земли?

Когда преступников вывели за ограду, к одному из них, к краснобровому, с безумною радостью бросилась собачонка. Несчастный взял ее на руки и целовал, а она, тихо визжа, лизала наручники кандалов.

Орлов, все время задумчиво стоявший, бросил и свою горсть земли в могилу, а потом, увидав веселого доктора, подозвал его к себе.

— Ну что, господин доктор, как стоят дела в городе? Что мор?

— Мор издыхает, ваше сиятельство, — отвечал доктор, думая о чем-то.

— Это верно?

— Верно-с. Пуля уже на излете, она не смертельна.

— Что же нам остается еще сделать? — спросил Орлов после небольшого раздумья.

— Вашим сиятельством сделано уже многое, но все еще главное не сделано, — спокойно отвечал доктор.

— Что же такое? — торопливо спросил Орлов.

— Надо накормить всех голодных: это труднее всего.

Орлов задумался. Толпы стали расходиться. У ограды и у ворот стояли тысячи оборванных, полунагих, с худыми лицами и протягивали руки.

— Видите, ваше сиятельство? — доктор указал на эти толпы голодных.

— А что же? — озабоченно спросил граф.

— Это мор протягивает руку за куском. Если он не получит куска, то возьмет самого человека, и того, который просит, и того, который не дает.

— Спасибо, господин доктор. Мы еще с вами поговорим.

И Орлов оставил кладбище.

Пробираясь к выходу, веселый доктор столкнулся с Ларисой и Настей.

— Что же. Крестьян Крестьяныч, когда же? — спросила первая.

— Что, милая девочка?

— Да туда, в Турцию.

— Погодите, погодите, милые барышни. Еще здесь дело есть. А там и в дорогу.

\* \* \*

Прошли сорочины после похорон Амвросия.

Всю ночь на 21 ноября 1771 года жившие около Донского монастыря москвичи и обитатели самого монастыря слышали стук топоров где-то вблизи монастырской ограды и покрикивания рабочих.

— Эй, паря! Крепи больше эту верею-вереюшку.

— Креплю! Что орешь! Сам знаю, что дядя Савелий крепенок таки, того и гляди, обломит люльку-то свою.

— Ишь ты, п о к о и каки написали знатные! Два столба с перекладиной, вот и п о к о й.

— А тебе бы а р ц ы, аспиду, самому поставить!

— За что так?

— За то, аспид!

— Что ж! Сказывали ребята, в Питере, слышь, арцами теперь виселицы-то ставить учили, один, слышь, столб, а от ево лапа идет, бревно, значит, на лапу-то и вешают.

— Так не а р ц ы это, а г л а г о л.

— Ну, г л а г о л... все едино виселица. А рази только троих вешать будут?

— Троих, чу.

— А ты кобылу-то крепче ладь: на ей пороть будут.

— Знаю... Страивали и кобыл не мало: Москва-то-матушка на их езжала довольно.

— А веревки-то крепки ль к виселицам?

— Крепки, не сорвутся, а и сорвутся, так наземь же упадут, не на небо.

— То-то, а то в шею наладут.

— Что ж! Побьют, не воз навьют.

А наутро оказалось, что на том самом месте, где убит был Амвросий, возвышаются три огромные виселицы с эшафотом, а кругом них несколько "кобыл", эдакие оригинальные и удобные приспособления для сечения кнутом: оседлает эту деревянную кобылку осужденный, привяжут его ремнями к этой лошадке спиною кверху, да и стегают до мяса, да до самой кости становой. Ишь, как ловко выдумали! А допрежь было проще, на

чистоту, выведут этого человека на базар, где народу больше, да опрокинут это сани какие ни есть кверху полозьями, вот-де и кобыла готова. И пишат спины.

Москвичей навалило на это позорище видимо-невидимо: не всех, стало быть, взяла чума на тот свет, есть кому посмотреть на тех, кого вешать да кнутовать будут. Эко торжище!

Скоро слышали и стук барабанов и бряцанье кандалов, такое бряцанье, словно бы гнали табун скованных коней. Да и был их, точно, целый табун: не одну сотню нагнали скованных.

В числе первых старые наши знакомые: дядя Савелий с седою бородой, Васька-дворовый, Илюша-чудовидец да краснобровый солдат, да только уж не рыжий, а тоже седой. А других и перечесть нельзя, кажется.

Тут и собачонка Маланья, веселая такая, резвая. Она увидела своего любимца краснобрового и знает, что он и сегодня возьмет ее после на руки и поцелует.

Конвойные солдаты с сухим подьячим во главе поставили под виселицы четырех арестантов, в том числе и краснобрового солдата.

Собачке и видно его хорошо впереди всех, она и хочет броситься к нему, но конвойные солдаты не пускают ее, а только улыбаются ей: они тоже полюбили ее, Маланью. Маланья целых два месяца не отходила от острога, где сидел ее любимец, как ни старались отгонять ее часовые. Сначала она выла, ее били да швыряли в нее: а она все тут торчит. Потом им стало ее жаль, и они посвистывали ей издали, заигрывали с нею. А она тоже ничего. Дальше больше — и совсем полюбили ее, как свою родную: делились с нею и порциями и ласками, а когда холода настали, то и прятали ее в свои тулупы, потому: псица-де махонькая, безобидная. Ну, и совсем друзьями зажили солдатики с доброю Маланьей.

— Как же это, паря, их четыре, а виселиц всего три?

— А как! Начальство уж само знает как: двух на одну вздернут.

— То-то и я мекаю себе: как же это?

Бьют барабаны, читают приговор, приводят статьи законов:

— "...Разбойников, которые учинили смертное убийство, наказывать смертью..."

— Ишь ты, смертью.

— А ты как бы думал, животом!

— "...кто на людей на пути и на улицах вооруженной рукою нападет и оных силою пограбит или побьет, поранит и умертвит, оного колесовать и на колесо тело положить".

Прочитали приговор. Завязывают глаза четверем главным, в том числе и краснобровому, не видать больше красных бровей! Собачка так и запрыгала от радости, когда увидала, что ее любимцу завязывают глаза: играть, значит, с ним в жмурки, как вон, она видала, солдаты, бывало, в полку игрывали. Одному это завяжут глаза, а другие бегают от него, а он их ловит, растопырив руки, а Маланья за ним бегают, лает, хватает его за штаны, весело так! А он — хват! И поймал Маланью. Веселье на всю роту.

А вон сухой подьячий подходит к Ваське и к краснобровому и подносит к ним шапку. Вот смешно!

— Вымай жребий! — кричит он Ваське.

Васька сует руку мимо шапки, глаза-то завязаны, так не видать, а потом и в шапку, и вынимает из шапки какую-то маленькую бумажку. Подьячий берет ее...

— Пустой! — громко кричит подьячий и подносит краснобровому.

И краснобровый вынимает бумажку.

— Пустой! — опять кричит подьячий.

"Что они делают? Вот выдумали игру", — думается собачонке, и она глаз не сводит с этой новой игры, и так бойко, весело мелет ее хвост в воздухе.

— По второму жребию! — кричит другой подьячий, толстый.

Опять подносят шапку к Ваське. Опять Васька вынимает бумажку.

— Повесить! — кричит подьячий.

Собачонка вздрагивает. Уж не ее ли повесить? Ведь она слышала, что вешают собак.

Но вздрагивает и Васька... и опускает руки и голову. Ему на шею тоже надевают веревку. Что же дальше будет? Вот смешная игра!

Подьячий опять подносит шапку к краснобровому. Тот опять вынимает бумажку.

— В Рогервик сослать! — кричит подьячий и развязывает краснобровому глаза.

А вот что-то опять кричат, и вместо жмурок те, что с завязанными глазами, уже висят в воздухе и болтают ногами, только арестантские коты стучат друг о дружку.

А там других начали класть на какие-то подмости и сечь большими, толстыми треххвостными ремнями, те кричат: — Ох, батюшки! Православные, простите! Ой, ох, ой!

А тут этим ноздри рвут щипцами... кровь... крики...

\* \* \*

Весна 1772 года. По дороге к Рогервику плетется партия арестантов, погромыхая кандалами. Все, и арестанты с вырванными ноздрями, и конвойные, идут вперемешку, разговаривают, шутят, смеются.

Чего ж не смеяться! Все равно всем жить скверно, да и недолго.

Впереди партии бежит собачонка, веселая такая, довольная, хвост бубликом.

— "...Маланья" да "Маланья", так за Маланью и пошла.

— И в Турции, баишь, была?

— Была. Под Кагулом на штурм с нами ходила, на самого турецкого визиря лаяла.

— Ишь ты, занятная. А давно у вас?

— С самой турецкой земли, так под забором солдаты подняли щенка, жалко стало, все же оно творение.

— Знамо, творение жалко. И в Москве была?

— И в Москве, и в карантинах бывала, и мор мы с ей на Москве перебыли. Уж и времячко же было — и-и! И не приведи Бог, а особливо как мы за Богородицу шли. А вон что вышло!

— Что ж! Теперь на Бога поработаете — зачтется вам.

— Так-то так, а все бы семью повидать хотелось.

— Оно не што, да и нам не лучше.

Одной Маланье весело: радостно поглядывает она на своего краснобрового любимца, и тому на сердце легче делается... Скоро Рогервик, говорят. Маланья и Рогервик увидит, видала она и Кагул, и Яссы, и Хотин, и Киев, и Москву, а тут и Рогервик. Вот веселье! Только изредка она вспоминает высокого, доброго хохла, что иногда носил ее за пазухой. Куда он сгинул?

\* \* \*

В тот же день, очень далеко от Рогервика, именно в Киеве, по Крещатику, звеня валдайским колокольцем под дугою, бежала ямская тройка, впряженная в крытую дорожную брику. По пыли, густым слоем насевшей на кузов брики, можно было видеть, что не одну сотню верст проколесила она по неизмеримым и неисходным трактам матушки-России.

У одного из перекрестков тройка должна была несколько приостановиться, потому что самую серединою улицы проходила, неприятно звякая кандалами, партия арестантов.



Арестанты препровождались сворами, навязанные на длинные канаты. В передней своре выдавалась атлетическая фигура одного арестанта, смуглого, красивого, с выбритою до половины головой.

Из дорожной брики выглядывали два женских лица. Это были Лариса и Настя. В той же брике, против них, помещалась кругленькая фигурка мужчины. Это был веселый доктор.

При виде атлета-арестанта у веселого доктора невольно вырвался крик сожаления. Наскоро порывшись в кармане, он ловко бросил червонец прямо к ногам атлета. Атлет глянул на брику, узнал того, кто ему бросил червонец, перекрестился, еще взглянул на доброе лицо доброго человека и безнадежно махнул рукой. Вот тебе и "хатка", вот тебе и "вишневый садочек".

Партия прошла далее. Но доктор не мог не заметить, что рядом с первою сворою арестантов шла высокая красивая, с огромной черною косою девушка и плакала.

— Бедная Горпина! — сказал как бы про себя доктор, а потом, обращаясь к конвойному солдату, спросил: — Куда, служба, гонят их?

— У Сибирь, — был ответ.

— Бедная, бедная Горпина, — повторил доктор.

— Кто это. Крестьян Крестьяныч? — спросила Лариса с горестным участием.

— Да всё невинные дети, как и вы, милые девочки — с горькою улыбкою отвечал веселый доктор — Не там так здесь, не так, так эдак-придет наносная беда, перемелет в муку человека — и нету его. Где? — спросишь куда пропал человек? — "У Сибирь". И у всякого-то, милые девочки, есть своя проклятая "Сибирь"

— И своя "Турция", — тихо, многозначительно добавила Лариса.

— А когда их не будет? — спросила Настя.

— Когда? Эх, беляночка! Не скоро... Когда люди поумнеют.

**1879**